

Владимир Набоков

Король, дама, валет

I

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетки, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками, – фотографиями жемчужно-голых красавиц, – пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, – как мучительный сон, в котором есть и усилие невероятное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, – пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь...

Больше женщин, чем мужчин, – как это всегда бывает среди провожающих... Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натошак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, – и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.

И отошли не только они, – эти две знакомые улыбки, – тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, – тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло! Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков, – все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки... И хотя уже давно мимо вагонного окна разворачивались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели, кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери, против Франца, было занято журналом с голой стриженной красавицей на обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин.

Город уехал. Франц схватился за бок, навывлет раненный мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий билетик, и чужая визитная карточка, и непчатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шурша разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос – крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу – целая география оттенков, – желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, – какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе, отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво: шелковый галстук в нежных узорах нырлял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой.

У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось страшное ощущение: неотвязно мерзка влажность нёба, отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, – камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки: однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Все – образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое, новое, сродное им впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене, – оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши лежал бок-о-бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек, чемоданом, а главное, – старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали под лавку... Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расштал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.

Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв

плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось, и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя...» – вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон.

Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, – с привкусом пряного мотовства, – как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помпimus, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй... во второй... ежели набраться смелости... Покойный отец (нотариус и филателист) ездил, говорят, – давно, до войны, – вторым классом. И все-таки Франц не решался, – замирал в начале прохода, у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, – и уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутский автомобиль.

Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора.

В купе, куда Франц вошел с безмолвным, низким поклоном, сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то водопад... Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама – в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой, лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец, оттого что воротничок мягкий, и вообще... Однако Франц ошибся.

– Пить хочется, – протяжно сказал господин. – Жалко, что нет фруктов...

– Сам виноват, – ответила дама недовольным голосом, и, погодя, добавила:

– Я все еще не могу забыть. Это было так глупо...

Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего.

– Сам виноват, что пришлось прятаться... – сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в

углу, – молодой человек в очках, – смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом.

– Все равно... – сказала она тихо, – не стоит говорить.

Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский, озорной огонек, мягкие складки у губ двигались, – оттого, что он перекачивал во рту мятную лепешку, – одна бровь, желтая, шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кухне Лине, с которой был дружен в молодости, лет двадцать тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородавкой, как репейник, на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что «годы, конечно, наложили свой след», но что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке; потом стала советовать. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его сместило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, – я его устрою...» Вот это жена и не могла простить. Она назвала это: «Наводнять дело бедными родственниками» – но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, – он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, Бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их, и, хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «пссст...», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке...

Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел, скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек, и очерку подстриженных усов, и вееркам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка исподлобья, с чертиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу, у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый крап его галстучка, стоившего, разумеется, девяносто пять пфеннигов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки, – рубашки, существующей впрочем только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, шитую дома. Над костюмом молодого

человека Драйер нежно загрузил, подумав о том, что покроем пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полосу костюм уже пять сезонов как исчез из столичных магазинов.

В стеклах очков внезапно родились два встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканием. Марта сказала:

– Вообще происходит какая-то путаница.

Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, – и, вместо слов, резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она, с досадой, со скукой, медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы – призрачный негатив движущегося леса, – и каким-то образом вмешалось в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней, невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, – но ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.

То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно; это так принято, и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотов. Изящная книга хороша на столе в гостиной или на полке. В вагоне, для отвода скуки, можно читать какой-нибудь ерундовый журнальчик. Но эдак вкушать и впивать... переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. – Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуды, чуды. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан...

В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придавал искусственную теплоту ее неподвижным глазам, с их большими, словно упругими, зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременную цель. Она почти не была накрашена; только в тончайших морщинках теплых, крупных губ сохла оранжево-красная пыльца.

И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы вне себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза, почти дерзко, посмотрел на даму.

А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход

из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, сюда, в солнечное купе, представился ему, как переход из мерзостного ада, через пургаторий площадок и коридоров, в подлинный рай. Старичок кондуктор, давеча пробивший ему билет и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение.

Сама Марта ему помогла: глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом замигала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянуло тоже к зевоте. В ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравшей небо, судорожно открыл рот, Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом, и когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной.

Резко хряснула дверь, и взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рывкнул и метнулся дальше – выкрикивать свою весть.

Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь, и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надувает и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смутно она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купе: был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и умеренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли.

Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купе. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохотнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза.

Столица... В самом названии этой незнакомой еще столицы – в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго – было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми

кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта, и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше был увлекательный туман, где поворачивалась фотографическая открытка, – сквозная башня в расплывчатых огнях, на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине, среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых зеркал, и стеклянных прилавков, Франц разгуливал в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон; и в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул, – взволнован ли он? – затем, сохранив голые плечи, переменял голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объяснить в любви; но и эту голову он затушевывал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах; и только тогда образ ожил: гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки: две блестящих, – стекла очков, и одна черная – рот. Драйер это отметил, когда, час спустя, вернулся с женой из вагона-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару.

Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы; она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная, драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену, слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком, – но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того, как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.

Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути; и затем в отделении потемнело; вокзал.

– А я, моя душа, пойду прогуляться, – сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе.

Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув, на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу, но жена больше не улыбнулась, – и, пыхнув дымом, он двинулся дальше. Шел он неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где–

нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород... Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, – и денег достаточно на пять, а то и больше, полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедем, дела подождут. Купить, что ли, газету; биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь, И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексико, Пальмовый Пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать... Где же, в сущности говоря, газетный лоток... Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, все забуду... И вот, багажный вагон тронулся, поплыл. Э! да это мой поезд... А все-таки надо купить...

Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его, длинный господин. Драйер, мимоходом глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно, – подумал Драйер, – очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купе, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор.

– Сумасшедший идиот, – сказала она спокойно и тотчас прикрыла глаза снова. Драйер дружелюбно ей покивал и окунулся в газету.

Первая часть дороги, – первая глава путешествия – всегда подробна и медлительна. Средние часы – дремотны, последние – скоры. И вот, Франц проснулся, пожевал губами. Его спутники спали. Свет в окне поблек, точно где-то потушили одну, две лампочки. Он посмотрел на кисть, на часики под решеткой. Он спал очень долго. Отяжелели ноги, и во рту был препротивный вкус. Тщательно вытерев стекла очков, он выбрался в коридор.

И с этих пор время пошло быстро. Час спустя оживила и чета Драйер, лакей принес им кофе в толстых чашках, кофе было скверное. Где-то потухли еще две-три лампочки. Потом, в сумерках, по окну стал тихонько потрескивать дождь, катились по стеклу струйки, останавливались неуверенно и снова быстро сбегали вниз. За окнами коридора под аспидной тучей тлел узкий, желтый закат. И еще немного спустя электрический свет озарил отделение, и Марта долго смотрелась в зеркальце, скаля зубы, подтягивая верхнюю губу.

Драйер, весь еще полный приятно тепла дремоты, посмотрел на потускневшее окно, на струйки, угловато сбегавшие по стеклу, подумал, что завтра воскресенье, что утром он поедет играть в теннис (за который недавно принялся с жарким рвением пожилого человека), и что нехорошо, если помешает дождь. Он спросил себя, сделал ли он успехи, бессознательно напряг правое плечо и тотчас вспомнил холеную, солнцем облитую площадку в тирольском городке и знаменитого, баснословного игрока, который пришел на состязание в белом пальто с полдюжиной ракет под мышкой, а затем медленно, с

профессиональной плавностью снял и пальто, и шелковый шарф и цветастый свитер, – и сверкнув по локоть обнаженной рукой, поддал звучно и с какой-то нечеловеческой точностью первый, пробный мяч.

– Осень, дождь, – сказала Марта, резко захлопнув сумку.

– Совсем маленький, – тихо поправил Драйер.

Поезд, как бы уже попав в поле притяжения столицы, шел необыкновенно быстро. Стекла совсем потемнели, в них незаметно появились отражения, отблески. Мелькнула мимо огненная полоса встречного поезда и навеки оборвалась. Франц, вернувшись в купе, вдруг судорожно схватился за бок. И еще через час в смутном мраке появились далекие россыпи огней, бриллиантовые пожары.

Вскоре Драйер встал; Франц, с холодком волнения в груди, встал тоже. Драйер стал стаскивать чемоданы (он очень любил совать их носильщику в окно); Франц, поднявшись на цыпочки, стал стаскивать свой чемодан тоже. Оба мягко столкнулись спинами, и Драйер рассмеялся. Волнуясь и торопясь, Франц стал надевать пальто, не мог сразу попасть в рукав, нахлобучил зеленую свою шляпу и вышел в коридор.

Огней в темноте прибавилось, и вдруг, словно под самыми ногами, открылась улица с освещенным трамваем и пропала опять за мелькавшими стенами, которые кто-то быстро тасовал.

– Поскорей бы! – взмолился Франц, – это невыносимо...

Промахнула мелкая станция, платформа под черным навесом, и снова стало темно, точно никакой столицы и близко не было. Наконец разлился желтоватый свет, озарил тысячу рельс, ряды мокрых спящих вагонов, – и медленно, уверенно, плавно огромная железная полость вокзала втянула в себя сразу отяжелевший поезд.

Франц вылез на платформу, в дымную сырость. Проходя мимо покинутого вагона, он увидел своего светлоусого спутника, который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной, длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и, мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавок для багажа, вышел на волю.

## II

Смутный золотистый свет, воздушная отельная перина... Опять – пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не окончательное? Так бывает; очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купе второго класса, вместе с неизвестной изящной четой, – а на самом

деле это – пробуждение мнимое, это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый казус, – и действительность теряет вдруг вкус действительности; мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и номер в гостинице, название которой «Видэо» – написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки, – кто ее знает, явь ли это. Окончательная явь, или только новый обманчивый слой?

Франц, еще лежа навзничь, близорукими, мучительно сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону – на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, – он потянулся к ночному столику, нащупывая очки.

И только прикоснувшись к ним, вернее, не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус... Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника, с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще хрустнуло.

Восстановив все это в уме, Франц поморщился. Что ж, надо отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва – магазин, потом важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде («...это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать...»), Франц вспомнил и то, что нынче – воскресенье.

Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство: без очков он все равно, что слепой, а нужно пуститься в опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая, теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее ночного сверкающего роения.

Но просидеть весь день в номере, среди смутных, враждебных предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пенсне наконец откроется, – это было немисливо. Франц откинул перину и босиком, осторожно

прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво солнечный; слева напозла бархатистая тень, и невозможно было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.

Казалось теперь, что в комнате душная шумиха: раздраженный гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него споткнуться, – и казалось так шумно в комнате именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как дорогое вино, в холодной глубине двора.

Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось не одетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.

Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком, новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно вонзался в зрачок.

Франц дошел до угла, отыскал, щурясь, красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос – очевидно кондукторский – гаркнул ему в ухо: «наверх!» Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой кружащейся лесенке, – в родном городке ходил только трамвай, – и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого поворота, – при котором, казалось, автобус весь накренился, – взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице, как медузы, скользили люди, среди внезапно замершего автомобильного студня, – потом все это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные – по другой текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица, – призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту.

Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки, внезапно пахло прелой листвой... и одна смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя, он спросил у кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы

лишний раз не спрашивать, – и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, – все сливалось в ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дергал шей, чтобы чувствовать твердую головку запонки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.

Наконец он доехал; замирая, сполз вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах, – быть может незамеченный сосед – крикнул ему: «Направо! Первый поворот напра...», Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина, и безлюдность, и солнечная зыбкость... Он терялся, таял в этой смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек – тот самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть теней, – однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести глаза. «Прямо напротив, – где ограда», – бодро сказал человек и пошел своей дорогой.

Франц переправился через улицу, нашел калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем дело, он боком уперся в калитку, пока звонил, и она так сердито открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: «Вам к кому?» Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому.

– Его еще нет, – неторопливо сказал голос, когда Франц ответил.

Он прищурился, увидел белое лицо, темные гладкие волосы.

– Мне очень важно, – сказал Франц. – Я вот приехал... Я прихожусь ему родственником... – Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нем, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней волос. Внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло. Дама усмехнулась. Одновременно Франц, найдя карточку, поднял голову.

– Вот, – сказал он, – мне было велено сюда явиться. Я думал, что так как сегодня воскресенье...

Она посмотрела на карточку и опять усмехнулась:

– Мой муж поехал играть в теннис. Он вернется к обеду, а ведь мы уже встречались...

– Виноват? – сказал Франц и напряг зрение. Позже, вспоминая эту встречу, марево сада, хрустящий гравий, солнечно-пестрое платье, он часто недоумевал – как это он сразу не узнал ее? Правда, он был беспомощно близорук, правда, он ее раньше не видел без шляпы и вероятно не ожидал, что у нее такая голова – пробор посередке и сзади шиньон (единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде), – все же не так-то просто было объяснить, как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит. Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир, существовавший один короткий воскресный день, мир, где все было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться все, что угодно: так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро, в отельной постели, не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости несколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразное в ее облике, примеченное им вчера в полудремоте и снова утраченное, – теперь проявилось вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, – нравится ли ему эта туманная дама: близорукость целомудренна. Но, кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба; женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, – и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром, что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и, второпях, мучась желанием поскорее расположить ее к себе, говорил о том, какое это неожиданное, удивительное, небывалое и очень, очень приятное совпадение.

Сбоку от крыльца на мураве стоял огромный полотняный зонт, и под ним – столик и несколько плетеных кресел. Марта села, Франц, улыбаясь и щурясь, сел рядом. Она решила, что ошеломила его совершенно видом небольшого, но очень дорогого сада, где, между прочим, было и персиковое деревцо, и плакучая ива, и серебристые елочки, и какая-то патентованная яблоня, и магнолия, и банан, уже завернутый в рогожку... То, что сад для Франца только зеленоватое марево, ей просто в голову не пришло, хотя она заметила, как беспомощно он близорук. Приятно принимать его так изящно в саду, приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у нее бывали люди ее же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять, она была почти нежно благодарна этому провинциалу в узких штанах за то, что он дает ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она знала в первые месяцы замужества.

– У вас такая тишина... – сказал Франц. – Я думал, что город так шумен...

– Да ведь мы живем почти за городом, – ответила она, и, чувствуя себя на семь лет моложе, добавила: – вон там, соседняя вилла принадлежит графу Брамсдорфу... Очень милый старик, часто у нас бывает.

– Приятнейшая тишина, – сказал Франц, развивая тему и уже предчувствуя тупик.

Она посмотрела на его белую руку, плашмя лежащую на столе. Худые пальцы слегка дрожали.

– Вы, значит, как приходите к моему мужу? Троюродным племянником, не правда ли? Вы будете служить, – это хорошо. У него дело огромное. Ну, вы, конечно, уже слыхали о магазине, – там только мужские вещи, но зато – все, все, – галстуки, шляпы, спортивные принадлежности. Потом у него есть контора, всякие банковские дела...

– Трудно начать, – сказал Франц, барабанил пальцами. – Я боюсь... Но я знаю, ваш муж – прекрасный человек, добрейший человек...

В это время откуда-то появился призрак собаки, оказавшейся при ближайшем рассмотрении желто-серой овчаркой. Пес подошел, и, опустив голову, что-то положил к ногам Франца. Потом отошел аршина на три, уже в туман, и там остался, – выжидательно.

– Это – Том, – сказала Марта. – Том получил приз на выставке. Не правда ли, Том?

Франц, из уважения к хозяйке, поднял с муравы то, что Том принес. Это оказалось мокрым деревянным шаром, сплошь испещренным следами зубов. Как только он поднял шар, – а поднял он его к самому лицу, – призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, теплым, дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула. Он поспешно бросил шар; собака исчезла.

Шар попал прямо в астры; но Франц этого, конечно, не увидел.

– Чудная собака, – сказал он, с отвращением вытирая мокрую руку о колено под столом. Марта беспокойно смотрела в сторону: Том, в поисках шара, мял астры. К счастью, в эту минуту быстро проехал мальчишка на велосипеде, и собака, мгновенно забыв шар, стремглав бросилась к ограде сада и промчалась вдоль нее с неистовым лаем. Потом, сразу успокоившись, затрусилась обратно и легла у ступени крыльца, выпустив язык и поджав одну переднюю лапу, по-львиному.

Франц, слушая, что Марта рассказывает ему о Тироле, чувствовал, что собака где-то поблизости, и с тревогой думал, что вот-вот она ему назад принесет склизкую гадость.

– ...Но мне было душно, – говорила Марта, – мне казалось, что эти горы вот-вот рухнут на гостиницу. Мы думали было поехать оттуда в Италию, да мне как-то расхотелось. Он совсем дурак, – наш Том. Вот пришёл чужой, а ему что чужой, что свой – все равно. Вы в столице впервые, не правда ли? Нравится?

Франц потрогал глаза: «Я совсем слепой, – сказал он, – пока не куплю новых очков, ничего не могу оценить... А в общем – хорошо... И у вас так тихо...»

Он почему-то вдруг подумал, что, вероятно, вот сейчас его мать возвращается домой из церкви. Меж тем он ведет трудный, но приятный разговор с туманной дамой в туманном сиянии. Это все очень опасно, каждое слово может оступиться. И Марта отметила эту прерывистость, замирание, неловкость. «Он ослеплен и смущен, он такой молоденький, – подумала она с презрением и нежностью. – Теплый податливый воск, из которого можно сделать все, что захочется». И она сказала, – просто так, в виде пробы:

– Если желаете служить, сударь, вы должны держаться бодрее, увереннее.

Как она и полагала, Франц не нашелся, что ответить, и только хмыкнул.

Она увидела, что ему неприятно, но сказала себе, что это крайне для него полезно. Францу и впрямь стало на миг неприятно, но не совсем так, как думала Марта. Какая-то неожиданная живость и грубоватость появились в ее голосе, и он смутно различил, как она, подавая пример, расправила плечи при словах «бодрее, увереннее»; все это не вязалось с ее бесплотным обликом, меж тем как ее прежние, скользкие слова ничуть его не коробили. Неприятность, впрочем, мгновенная: Марта сразу затуманилась опять, влилась в общую туманность.

– А все-таки свежо... – сказала она. – По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит.

– У нас еще купаются, – заметил Франц. Он решил было рассказать о родной реке, о том, как славно там плавать, нырять прямо с лодки, о сильном течении и чистоте воды, – но в это мгновение грянул автомобиль за оградой, хлопнула дверца, и Марта, повернувшись, сказала: «Вот, наконец, и мой муж».

Она пристально смотрела на Драйера, который быстро, чуть подпрыгивающей походкой, шел по тропе. Он был в просторном пальто, на шее, спереди, пучилось белое кашне, из-под мышки торчала ракета в чехле, как музыкальный инструмент, в руке он нес чемоданчик. Марте стало досадно, что прервался разговор, что она уже не наедине с Францем, не занимает, не поражает его всецело, – и совершенно невольно, она переменяла манеру по отношению к Францу, как будто между ними, как говорится, «что-то было», и вот явился муж, перед которым надо держаться суше. А кроме того, она, конечно, не собиралась показывать мужу, что бедный родственник, заранее ею расхаянный, вовсе не оказался таким уже плохим, – и потому, когда Драйер подошел, она незаметной, тонко рассчитанной ужимкой хотела выразить ему, что вот, мол, своим приходом он, наконец, освободит ее от скучного гостя; но Драйер, приближаясь, не спускал глаз с Франца, который, вглядываясь в туман, встал, вытянулся, готовился поклониться. Драйер, по-своему наблюдательный и до пустых наблюдений охочий (он часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на стенах в чужом кабинете), сразу, еще издали, узнал вчерашнего пассажира и сперва подумал, что их случайный спутник подобрал какую-нибудь вещицу, которую они посеяли в вагоне, и вот разыскал их,

принес; но вдруг другая мысль, еще более забавная, пришла ему в голову. Марта видела, как ноздри его расширились, губы вздрогнули, морщинки у глаз умножились, заиграли, и в следующий миг Драйер расхохотался, да так, что Том, прыгавший вокруг него, разразился неудержимым лаем. Ему смешно было не только само совпадение, но и то, что, вероятно, жена что-нибудь говорила о его родственнике, пока родственник тут же сидел в отделении. Что именно говорила Марта, могли это слышать Франц, – никак уже не вспомнить, – но что-то было, что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливала смешную сторону совпадения, он смеялся, пока жал руку племяннику, он продолжал смеяться, когда со скрипом пал в плетеное кресло. Том все лаял. Марта вдруг подалась вперед и наотмашь, сверкнув кольцами, сильно ударила собаку по бедру. Та взвизгнула и отошла.

– Очаровательно... – проговорил Драйер, вытирая глаза большим шелковым платком. – Вы, значит, Франц, сын Лины?.. После такого удивительного случая мы должны быть на «ты», – и ты, пожалуйста, зови меня не «господин директор», а дядя, дядя, дядя...

«...избегать местоимения и обращения», – вскользь подумал Франц. Однако ему стало тепло и покойно. Драйер, хохочущий в тумане, был смутен, несуразен и безопасен, как те совершенно чужие люди, которые являются нам во сне и говорят с нами, как близкие.

– Я сегодня был в ударе, – обратился Драйер к жене, – и, знаешь, голоден. Я думаю, Франц тоже голоден...

– Сейчас подадут, – ответила Марта и встала, ушла; солнце медленно ее затушевало.

Франц почувствовал себя еще свободнее и сказал: – Я должен просить прощения. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь...

– Ты где же остановился? – спросил Драйер.

– Гостиница Видэо, – сказал Франц. – У вокзала. Мне посоветовали.

– Так-с. Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату. Поблизости отсюда, за сорок – пятьдесят марок. Ты в теннис играешь?

– Да, конечно, – ответил Франц, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракету, купленную у антиквара за марку, и черный резиновый мяч.

– Ну вот, – будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как, с Мартой подружился?

Франц осклабился.

– Ладно, – сказал Драйер. – Я думаю, что обед готов. О делах потом. Дела обсуждаются за кофе.

Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела,

холодно кивнула и опять ушла в дом. «Что за амикошонство», – сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка; весь дом, небольшой, двухэтажный, с террасой, с антенной на крыше, был такой же, – чистый, изящный и в общем никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе, – или вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В нем были все удобства, и большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике, в ванной комнате, круглое, в человеческое лицо, увеличительное зеркало на шарнирах, с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот очень скоро его возненавидел: нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещенную, раза в три распухшую, свиной щетиной за ночь обросшую морду. В бидермайеровской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял, вместо лампы, бронзовый рыцарь (прекрасной, впрочем, работы) с фонарем в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы, – дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость. Все в доме, вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями: сахар, гвоздика, цикорий на полках идиллической кухни, – исходило от Марты, которой семь лет тому муж подарил еще пустой и на все готовый только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен: среди них был превосходный портрет старика, писанный масляными красками. Старик благородного вида, с баками, в сюртуке шестидесятых годов, на коричневом фоне, сам освещенный словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его неспроста. Рядом с ним – на стене в столовой – она повесила дагерротип деда, давно покойного купца; дед на дагерротипе тоже был с баками, в сюртуке, и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет, – «Это мой дед», – говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод.

Но ни картин, ни глазчатых подушек, ни фарфора Франц, к сожалению, не мог рассмотреть, хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную мать, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступней тающую мягкость ковра, – и таким образом, воспринимал именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть по мнению Марты, то, за что было ею дорого заплачено, – какую-то воздушную роскошь, в которой, после первого бокала красного вина, он стал медленно растворяться. Драйер налил ему еще, – и Франц, к вину не привыкший, почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалеке, светлым призраком; Драйер, тоже призрачный, но теплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел

из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло, и как ему хотелось пилоту сказать: «пожалуйста, остановитесь на минутку». Меж тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками, боролся то с волованом, то с неуступчивым пломбиром и чувствовал, что вот-вот, еще немного, – и уже тело его растает, и останется уже только голова, которая, с полным ртом, станет, как воздушный шар, плавать по комнате. Кофе и кюрасо, которое сладко заворачивалось вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и Драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине, о службе. Он отлично видел, что Франц совсем разомлел от хмеля, и потому в подробности не входил; сказал однако, что Франц очень скоро превратится в прекрасного приказчика, что главный враг воздухоплателя – туман и что так как жалование будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет рад, если Франц будет хоть каждый день заходить, причем он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Все это путалось в голове у Франца; кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него исподлобья и, посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст ему Марта, мысленно вытряхивал Францу на голову огромный рог изобилия; ибо Франца он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный, приятнейший, еще не остывший смех, который судьба – через Франца – ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить, – за ее бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито: «только четверть часика». И затем, когда Франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно сошел по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и, все еще держа шляпу в руке, исчез за углом, Драйер подумал, как бедняга славно выпится там, у себя в номере, – и сам почувствовал упоительную дремотность, – после тенниса, после обеда – поднялся по внутренней деревянной лестнице наверх, в спальню.

Там, в оранжевом пеньюаре, согнув голую, бархатно-белую шею, которую особенно оттеняла темнота ее волос, собранных сзади в низкий, толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замшей терла ногти. В зеркале Драйер увидел ее гладкие виски, белый равнобедренный треугольник лба, напряженные брови – и так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится.

Он мягко сказал, желая ухудшить положение: – Отчего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет... правда же...

Марта, не поднимая глаз, ответила:

– Ты прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок.

– У нас есть еще часок, – сказал Драйер, – я, в сущности говоря, хотел было соснуть.

Марта, быстро поводя замшей, молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки, стал снимать башмаки.

Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала:

– Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства.

Драйер крикнул.

Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала:

– Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе? Говори мне «ты», называй «дяденька»... Неслыханно...

Драйер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков.

Марта вдруг обернулась к нему и, облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу.

Муж взглянул на нее исподлобья играющими озорными глазами.

– Ты добился своего, – задумчиво сказала Марта. – Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра.

Драйер, сообразив, что ему подремать не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое: у тебя есть тоже причуды, моя душа: едешь вторым классом, а не первым, – оттого что второй ничуть не хуже, – а получается страшная экономия, – сберегается колоссальная сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которая иначе канула бы в карманы тех, дескать, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку, оттого что собаке не полагается громко смеяться. Все это так, все это, предположим, правильно. Но позволь же и мне поиграть, оставь мне племянничка...

– Ты, очевидно, со мной говорить не желаешь, – сказала Марта, – ну что ж... – Она отвернулась и опять принялась за ногти.

Драйер думал: «Раз бы хорошо тебя пробрало... Ну, рассмейся, ну разрыдайся. И потом, наверное, все было бы хорошо...»

Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту все-таки не сказать ничего. Было ли это желание раздражить ее немотой, или просто счастливая лень, или бессознательная боязнь что-то вконец разрушить, – Бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевел глаза на широкую женину постель, покрытую кружевом и строго отделенную от его – тоже широкой, тоже кружевной – постели ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла – негр во фраке. Этот

негр, и пухлые кружева, и белая, церемонная мебель – смешили, претили. Он зевнул, потер переносицу. Потом встал, решив, что сейчас переоденется и полчаса почитает на террасе. Марта скинула свой оранжевый пеньюар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он исподлобья посмотрел на ее спину и, улыбкой проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор, а оттуда в гардеробную.

Как только дверь закрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула замку шею. Это был, пожалуй, первый ее поступок, который она не могла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужна будет сейчас горничная, и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь, от гнева своего она не отделалась. А сердилась она смутно и бурно. Ее сердило, что посещение Франца доставило ей странное удовольствие и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был ее непослушный и чудаковатый муж, пригласивший сдуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым; но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие несомненно повторится. И странное дело: будь она уверена, что ее слова заставят мужа не принимать Франца, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке, выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем, не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутное свойство ее ощущений, невозможность толково разобраться в том, почему же он ей пришелся по вкусу, – этот беспомощный, близорукий провинциал с прыщиками между бровей, – так ее раздражало, что она готова была сердиться на все – на зеленое платье, приготовленное на кресле, на толстый зад Фриды, копошившейся в нижнем ящике комода, на свое же злое лицо, отраженное в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей тридцать четыре года, и со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь, заскрипели ступени лестницы (они не должны были скрипеть!), веселенький, фальшивый свист мужа удалился, пропал. «Он танцует плохо, – подумала Марта. – Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно. Что это модно и необходимо».

Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья; мимо глаз, сверху вниз, пролетела зеленая тень; она вынырнула, погладила себя по бокам и почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана.

Внизу, на квадратной террасе, – с цементовым полом, с астрами на широких перилах, – у голого стола, в полотняном складном кресле сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой «Икар». Новый шофер, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная, предвечерняя

ясность; резкие синие тени деревьев тянулись по солнечному газону, – все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть, кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной по низу тысячапалым, ползучим растением. Далеко, за улицей, очень отчетливы были фисташковые фасады супротивных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человечек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шоферу. Потом они оба закурили, и легкий дымок ясно проплыл по черному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце еще полновесно сияло справа, из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон пожелтее.

Откуда-то появился Том, лениво прошел вдоль клумб; по долгу службы, без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьем и, опустив морду на лапы, лег подле тачки. Хорошо, прохладно, просторно было на террасе. Забавным лучом паутинка косо шла от крайнего цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые, и все одинаковые, и держались легкой стаей все на одном месте. Садовник наконец все выслушал, все досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой, и Том, лениво встав, пошел сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга, уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было ее поднимать. Хорошо, просторно, прохладно... Первой придет, вероятно, длинная тень вон той молодой яблони. Шофер сел на свое место... Интересно, о чем он сейчас думает... Утром у него были такие веселенькие глаза... уж не пьет ли? Вот была бы умора... Прошли два господина в цилиндрах; цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой. Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах. И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый облетевший адмирал, опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Малиновые полоски вылиняли, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряжен...

### III

В понедельник Франц размахнулся; он купил американские очки: оправа была черепаховая, – с той оговоркой, конечно, что черепаха тем и известна, что ее отлично и разнообразно подделывают. Как только вставлены были нужные стекла, он эти очки надел. На сердце, как и за ушами, стало уютно и покойно. Туман рассеялся. Свободные краски мира вошли снова в свои отчетливые берега.

Еще одно нужно было сделать, чтобы окончательно восстановить свою полновесность, осесть, утвердиться в свежерасчерченном мире: нужно было найти себе верное пристанище. Он снисходительно улыбнулся, вспомнив вчерашнее – обещание Драйера платить и за то, и за се. Драйер – приятное, фантастическое и крайне полезное существо. И он совершенно прав: приодеться прямо необходимо. Сперва, однако, –

комнату...

День был бессолнечный, но сухой. Трезвым холодком веяло с низкого, сплошь белого неба. Таксомоторы были оливково-черные с отчетливым шашечным кантом по дверце. Там и сям синий почтовый ящик был заново покрашен, – блестящий и липкий по-осеннему. Улицы в этом квартале были тихие, какими, собственно говоря, не полагалось быть улицам столицы. Он старался запомнить их названия, местонахождение аптеки, полиции. Ему не нравилось, что так много простора, муравчатых скверов, сосен и берез, строящихся домов, огородов, пустырей. Это слишком напоминало провинцию. В собаке, гулявшей с горничной, ему показалось, что он узнал Тома. Дети играли в мяч или хлестали по своим волчкам прямо на мостовой: так и он играл когда-то, в родном городке. В общем, только одно говорило ему, что он действительно в столице: некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например: клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена, так что особенно тонкой казалась голень в шерстяном чулке; такого покроя, именно такого, он еще не видал. Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах, и в штанах невероятных, просторных, безобразных, скрывающих сапоги – хоть воплощай в бродячем цирке передние ноги клоунского слона. И превосходные были шляпы, и галстуки, как пламя, и какие-то голубиные гетры, Драйер добр.

Он шел медленно, болтая руками, поминутно оглядываясь; «Ах, какие дамочки, – почти вслух думал он и легонько стискивал зубы... – Какие икры, – с ума сойти!..»

В родном городке, гуляя по приторно-знакомым улицам, он, конечно, сто раз в день испытывал то же самое, – но тогда он не смел слишком засматриваться, – а тут дело другое: эти дамочки доступны, они привыкли к жадным взглядам, они рады им, можно, пожалуй, любую остановить, разговориться с ней... Он так и сделает, но только нужно сперва найти комнату. За сорок – пятьдесят марок, сказал Драйер. За пятьдесят, значит...

И Франц решил действовать систематически. У дверей каждого третьего, четвертого дома была вывешена дощечка: сдается, мол, комната. Он вытащил из кармана только что купленный план, проверил еще раз, далеко ли он находится от дома Драйера, и увидел, что – близко. Затем он выбрал издали одну такую дощечку и позвонил. Позвонив, он заметил, что на дощечке написано: «Осторожно, дверь только что покрашена». Но было уже поздно. Справа отворилось окно. Стриженная девушка, держась обнаженной по плечо рукой за раму, другой прижимая к груди черного котенка, внимательно посмотрела на Франца. Он почувствовал неожиданную сухость во рту: девушка была прелестная; простенькая совсем, но прелестная. А эти простые девушки в столице, если им хорошо заплатить... «Вам к кому нужно?» – спросила девушка. Франц переглотнул, глупо улыбнулся и, с совершенно неожиданной наглостью, от которой сам тотчас смутился, сказал: «Может быть к вам, а?»

Она поглядела на него с любопытством.

– Полноте, полноте, – неловко проговорил Франц, – вы меня впустите.

Девушка отвернулась и сказала кому-то в комнате: «Я не знаю, чего он хочет. Ты его лучше сам спроси». Над ее плечом выглянула голова пожилого мужчины с трубкой в зубах. Франц приподнял шляпу и, круто повернувшись, ушел. Он заметил, что продолжает болезненно улыбаться, а кроме того тихо мычит. «Пустяк, – подумал он злобно. – Ничего не было. Забыто. Итак, нужно найти комнату».

Осмотрел он за два часа одиннадцать комнат, на трех улицах. Строго говоря, любая из них была прекрасна, но у каждой был крохотный недостаток. В одной, например, было еще не убрано, и, посмотрев в глаза заплаканной женщине в трауре, которая с каким-то вялым отчаянием отвечала на его вопросы, он решил почему-то, что тут, в этой комнате, только что умер ее муж, – и, решив так, не мог уже справиться с образом, который его фантазия поспешила отвратительно развить. В другой комнате недочет был попроще: она стояла на пять марок больше цены, положенной Драйером; зато была очаровательна. В третьей стоял у постели столик, который вдруг напомнил ему точь-в-точь такой же столик, бывший главным действующим лицом на неприятнейшем спиритическом сеансе. В четвертой пахло уборной. В пятой... Но Франц сам вскоре стал путать в памяти эти комнаты и их недостатки, – и только одна осталась какой-то нетронутой и ясной, – та, за пятьдесят пять марок, на тихой улице, кончавшейся тупиком.

Он вдруг почувствовал, что искать дольше незачем, что он все равно сам не решится, боясь сделать дурной выбор и лишиться себя миллиона других комнат; а вместе с тем, – трудно себе представить что-нибудь лучше – той, дороговатой, с портретом голой женщины на стене.

«Итак, – подумал он, – теперь без четверти час. Я пойду обедать. Блестящая мысль: я пойду обедать к Драйеру. Я спрошу у него, на что собственно мне обращать сугубое внимание при выборе, и не думает ли он, что пять лишних марок...»

Остроумно пользуясь картой (и заодно пообещав себе, что, как только освободится от дел, махнет вон туда, так, потом так, потом так, – по подземной железной дороге, – туда, где улицы, должно быть, пошумнее и понаряднее), Франц без труда добрал до особняка. Этот зернисто-серый особнячок был на вид удивительно какой-то плотный, ладный, даже, скажем, аппетитный. В саду на молодых деревьях гроздились тяжелые яблоки. Проходя по хрустящей тропе, Франц увидел Марту, стоявшую на ступеньке крыльца. Она была в шляпе, в кротовом пальто, в руке держала зонтик, и, проверяя сомнительную белизну неба, соображала, раскрыть ли зонтик или нет. Заметив Франца, она не улыбнулась, и он, здороваясь с ней, почувствовал, что попал некстати.

– Мужа нет дома, – сказала она, уставившись на Франца своими чудесными, холодными глазами. – Он сегодня обедает в городе.

Франц взглянул на ее сумку, торчавшую углом из-под мышки, на лиловатый цветок, приколотый к огромному воротнику пальто, на короткий тупой зонтик с красным набалдашником, – и понял, что и она

тоже уходит. «Простите, что побеспокоил», – сказал он, сдерживая досаду. «Ах, пожалуйста...», – сказала Марта. Они оба двинулись по направлению к калитке. Франц не знал, что ему делать: проститься ли сейчас или продолжать идти с нею рядом. Марта с недовольным выражением в глазах глядела прямо перед собой, полураскрыв крупные теплые губы. Потом она быстро облизнулась и сказала: «Так неприятно: я должна идти пешком. Дело в том, что мы вчера наш автомобиль разбили».

Случай действительно произошел неприятный: пытаюсь объехать грузовик, шофер сперва наскочил на деревянную ограду, – там, где чинили трамвайные рельсы, – затем, резко вильнув, стукнулся о бок грузовика, повернулся на месте и с треском въехал в столб. Пока продолжался этот припадок автомобильного бешенства, Марта и Драйер принимали всевозможные положения и в конце концов оказались на полу. Драйер сочувственно спросил, нешиблась ли она. Встряска, толпа зевак, разбитый автомобиль, грубый шофер грузовика, полицейский, с которым Драйер говорил так, как будто случилось что-то очень смешное, – все это привело Марту в состояние такого раздражения, что потом, в таксомоторе, она сидела, как каменная.

– Мы сломали какой-то барьер и столб, – хмуро сказала она и, медленно протянув руку, помогла Францу отворить калитку, которую он сердито теребил.

– Опасная все-таки вещь – автомобиль, – проговорил Франц неопределенно. Теперь уже пора было откланяться.

Марта заметила и одобрила его нерешительность.

– Вам в какую сторону? – спросила она, переместив зонтик из правой руки в левую. Очень подходящие он купил очки... Смышленный мальчик...

– Я сам не знаю, – сказал Франц и грубовато ухмыльнулся. – Собственно говоря, я как раз пришел посоветоваться с дядей насчет комнаты. – Это первое «дядя» вышло у него неубедительно, и он решил не повторять его некоторое время, чтобы дать слову созреть.

Марта рассмеялась, плотоядно обнажив зубы.

– Я тоже могу помочь, – сказала она. – Объясните, в чем дело?

Они незаметно двинулись и теперь медленно шли по широкой панели, на которой, там и сям, как старые кожаные перчатки, лежали сухие листья. Франц оживился, высморкался и стал рассказывать о комнатах.

– Это неслыханно, – прервала Марта, – неужели пятьдесят пять? Я уверена, что можно поторговаться.

Франц про себя подумал, что дело в шляпе, но решил не спешить.

– Там хозяин – эдакий тугой старикашка. Сам черт его не примет...

– Знаете что? – вдруг сказала Марта. – Я бы не прочь пойти туда,

поговорить.

Франц от удовольствия зажмурился. Везло. Необыкновенно везло. Не говоря уж, что весьма хорошо получается – гулять по улицам с этой краснотрубой дамой в кротовом пальто. Резкий осенний воздух, лоснящаяся мостовая, шипение шин, вот она – настоящая жизнь. Только бы еще новый костюм, пылающий галстук, – и тогда полное счастье. Он подумал, что бы такое сказать приятное, почтительное...

– Я все еще не могу забыть, как это мы странно встретились в поезде. Невероятно!

– Случайность, – сказала Марта, думая о своем. – Вот что, – вдруг заговорила она, когда они стали подниматься по крутой лестнице на пятый этаж. – Мне не хочется, чтобы муж знал, что я вам помогла... Нет, тут никакой загадки нет; мне просто не хочется, – вот и все.

Франц поклонился. Его дело – сторона. Однако он спросил себя, лестно ли то, что она сказала, или обидно? Решить трудно.

На звонок долго никто не приходил. Франц вслушался, – не слышно ли приближающихся шагов. Все было тихо. Оттого особенно неожиданным показалось, когда дверь отпахнулась. Старичок в сером, с бритым, мятым лицом и густыми, закрученными бровями, молча впустил их.

– Я к вам опять, – сказал Франц, – я хотел бы еще раз посмотреть комнату.

Старичок в знак согласия приложил руку к груди и быстро, совершенно беззвучно, пошел по длинному, темноватому коридору.

«Бог знает, какие дебри», – брезгливо подумала Марта, и ей опять почудилась озорная улыбка мужа: меня журила, а сама помогаешь, меня журила, а сама...

Впрочем, комната оказалась светленькой, довольно чистой: у левой стены деревянная, должно быть скрипучая, кровать, рукомойник, печка; справа – два стула, соломенное кресло с потугами на грацию; небольшой стол посредине; комод в углу; на одной стене зеркало с флюсом, на другой портрет женщины в одних чулках.

Франц с надеждой посмотрел на Марту, она указала зонтиком на правую пустоватую стену и каким-то деревянным голосом спросила, не глядя на старичка:

– Почему вы убрали кушетку, тут очевидно что-то раньше стояло.

– Кушетку просидели, она в починке, – глухо сказал старичок и склонил голову набок.

– Вы ее потом поставите, – заметила Марта и, подняв глаза, включила на миг электричество. Старичок тоже поднял глаза.

– Так, – сказала Марта и опять протянула зонтик: – Постельное белье

есть?

– Постельное белье? – удивленно переспросил старичок; потом, склонив голову на другой бок, поджал губы и, подумав, ответил: – да, белье найдется.

– А как насчет услуг, уборки?

Старичок ткнул себя пальцем в грудь.

– Все – я, – сказал он, – все – я. Только я.

Марта подошла к окну, посмотрела на улицу, потом прошла обратно.

– Сколько же вы хотите? – спросила она равнодушно.

– Пятьдесят пять, – бодро ответил старичок.

– Это как, – с электричеством, с утренним кофе?

– Господин служит? – поинтересовался старичок, кивнув в сторону Франца.

– Да, – поспешно сказал Франц.

Пятьдесят пять за все, – сказал старичок.

– Это дорого, – сказала Марта.

– Это недорого, – сказал старичок.

– Это чрезвычайно дорого, – сказала Марта.

Старичок улыбнулся.

– Ну что ж, – вздохнула Марта и повернулась к двери.

Франц почувствовал, что комната вот-вот сейчас навсегда уплывет. Он помял шляпу, стараясь поймать взгляд Марты.

– Пятьдесят пять, – задумчиво повторил старичок.

– Пятьдесят, – сказала Марта.

Старичок открыл рот и снова плотно закрыл его.

– Хорошо, – сказал он наконец, – но только, чтобы тушить не позже одиннадцати.

– Конечно, – вмешался Франц, – конечно... Я это вполне понимаю...

– Вы когда хотите въехать? – спросил старичок.

– Сегодня, сейчас, – сказал Франц, – вот только привезу чемодан из

гостиницы.

– Маленький задаток? – предложил старичок с тонкой улыбочкой.

Улыбалась как будто и вся комната. Она была уже не чужая. Когда Франц опять вышел на улицу, у него в сознании осталась от нее неостывшая впадина, которую она выдавила в ворохе мелких впечатлений. Марта, прощаясь с ним на углу, увидела благодарный блеск за его круглыми стеклами. И потом, направляясь в фотографический магазин отдать дюжины две еще не прозревших тирольских снимков, она с законным торжеством вспоминала разговор.

Заморосило. Ловя влажность, широко распахнулись двери цветочных магазинов. Морось перешла в сильный дождь. Марте стало смутно и беспокойно, – оттого что нельзя было найти таксомотор, оттого что капли норовили попасть под зонтик, смывая пудру с носа, оттого что и вчерашний день, и сегодняшний были какие-то новые, нелепые, и в них смутно проступали еще непонятные, но значительные очертания. И как будто тот темноватый раствор, в котором будут плавать и проясняться горы Тироля, – этот дождь, эта тонкая дождевая сырость проявляла в ее душе лоснистые образы. Снова промокший, веселый, синеглазый господин, случайнейший знакомый мужа, под таким же дождем торопливо говорил ей о волнении, о бессонницах и прошагал мимо, и исчез за углом памяти. Снова в ее бидермайеровской гостиной тот дурак художник, томный хлыщ с грязными ногтями присосался к ее голой шее, и она не сразу оторвала его. И снова, – и этот образ был недавний, – иностранный делец с замечательной синеватой сединой вдоль пробора шептал, играя ее рукой, что она, конечно, придет к нему в номер, и она улыбалась и смутно жалела, что он иностранец. Вместе с ними, с этими людьми, быстро-быстро холодноватыми ладонями прикасавшимися к ней, она пришла домой, дернула плечом и легко отбросила их, как отбросила в угол раскрытый мокрый зонтик.

– Я – дура, – сказала она, – в чем дело? О чем мне тревожиться? Это случится рано или поздно. Иначе не может быть.

Все стало как-то сразу легко, ясно, отчетливо. Она с удовольствием выругала Фриду за то, что пес наследил на ковре; она съела кучу мелких сэндвичей за чаем; она деловито позвонила в кассу кинематографа, чтобы оставили ей два билета на премьеру, в пятницу, и решила пойти со старухой Грюн, когда оказалось, что Драйер в тот вечер занят. А Драйер действительно был очень занят. Он так увлекся неожиданным предложением одной чужой фирмы, шелковистыми переговорами с ней, и телефонными перестрелками, и дипломатической плавностью важных совещаний, что в продолжение нескольких дней не вспоминал о Франце. Вернее, вспоминал о нем, – да не вовремя, – когда млея золотистым призраком, по шею в теплой ванне, когда мчался из конторы на фабрику, когда курил в постели папиросу, раньше чем потушить свет; Франц мелькал, Драйер мысленно ему обещал, что им займется немного погодя, и тотчас начинал думать о другом.

И Францу от этого было не легче. Когда первое приятное волнение новоселья прошло, – а прошло оно скоро, – Франц спросил себя, что же делать дальше? Марта записала номер его телефона и при этом холодно

сказала: «Я передам, что вы заходили, оставили телефон». Однако никто к нему не звонил. Сам позвонить он не смел. Пойти прямо так к Драйеру он теперь тоже боялся, не доверяя случаю, который в последний раз так великолепно преобразил его неудачный визит. Надо было ждать. Очевидно, в конце концов, Драйер вызовет его, но ждать было неприятно. Дело в том, что в первое же утро хозяин собственноручно принес ему в половине восьмого утра чашку слабого кофе с двумя кусочками сахара на блюде и наставительно заметил:

– Не опоздайте на службу. Смотрите, не опоздайте.

После чего старичок почему-то подмигнул.

Франц решил, что ему ничего другого не остается делать, как уйти из дому на весь день, словно он действительно до семи на службе.

Он принужден был, таким образом, поневоле осматривать столицу, – вернее, самую, как ему казалось, «столичную» ее часть. Принудительность этих прогулок отравляла новизну. К вечеру он так уставал, что все равно не мог выполнить свой давнишний роскошный план – поблуждать по ночным огнистым улицам, присмотреться к волшебным ночным дамам. В первый же день, далеко забредя, он попал на широкую скучную улицу, где было много парходных контор и магазинов картин, – и, взглянув на столб с надписью, увидел, что находится на том проспекте, который некогда так пышно снился ему. Осыпались жидковатые липы. Арка в конце была сплошь заставлена лесами: а в другом конце был странный простор, – и проходя вдоль канала, где в одном месте масло радугой стояло на воде и дурманно пахло медом от барж, с которых люди в розовых рубашках выгружали горы груш и яблок, он увидел с моста двух женщин в блестящих купальных шлемах, которые, сосредоточенно отфыркиваясь и равномерно разводя руками, плыли рядом по самой середине водной полосы. В музее древностей он провел два часа, с ужасом разглядывая пестрые саркофаги и портреты носастых египетских младенцев. Он подолгу отдыхал в шоферских трактирах и на удобнейших скамьях в необъятном парке. Он спускался в прохладные недра подземной железной дороги – и, сидя на красном кожаном сиденье, глядя на блестящие штанги, по которым взбегала, словно золотая, ртуть, ждал с нетерпением, чтобы оборвалась поскорей угольная чернота, грохотавшая вдоль окон. Ему чрезвычайно хотелось найти тот огромный магазин Драйера, о котором с таким почтением говорили в его родном городке. Но в толстом телефонном фолианте были только указаны дом и контора. Магазин, очевидно, назывался как-то иначе. И не зная, что столица передвинулась на запад, Франц бродил по центральным и северным улицам, где, по его мнению, должны были быть наряднейшие магазины, оживленнейшая торговля, и, замирая у витрин конфекционеров, все гадал, не это ли магазин, где он будет служить.

Его мучило, что он ничего не смеет купить. За это короткое время он успел уже потратить уйму денег, – а тут Драйер исчез, ничего как-то не известно, на душе смутно. Он попробовал подружиться со старичком-хозяином, так настойчиво выгонявшим его на целый день из дому, – но тот оказался неразговорчивым – все таился в неведомой глубине квартиры. Впрочем, в первый вечер встретив Франца в коридоре, он

долго объяснял ему тайны районного участка, дал ему какие-то бланки, куда Франц должен был вписать свою фамилию, холост ли или женат, и где родился.

– Кстати, я хочу вас предупредить, – сказал старичок. – Насчет вашей подруги... Она не должна вас посещать здесь. Я понимаю, – вы молоды, я сам был молод, я бы, пожалуй, смотрел на это сквозь пальцы, с удовольствием... Но моя супруга, – она сейчас временно в отъезде, – моя супруга не разрешает таких посещений.

Франц, побагровев, закивал. То, что хозяин принял Марту за его возлюбленную, и поразило его, и польстило ему чрезвычайно. При этом он с легким волнением почувствовал, что теперь Марта и дама в вагоне слились в один образ. Он представил себе ее запах, ее теплые на вид губы, нежные поперечные бороздки на горле; но сразу остановил в себе привычный наплыв вождения. «Она совершенно недоступна, – подумал он спокойно. – Недоступна и холодна. Она живет в другом мире с богачейшим, еще сочным мужем. Воображаю, как погнала бы в три шеи, если б я стал предприимчив. И сразу – разбитая карьера...» С другой же стороны, он подумал, что какую-нибудь подругу он все-таки непременно заведет, – тоже крупную и темноволосую, – и в предвидении этого решил принять некоторые меры. Утром, когда старичок принес ему кофе, Франц кашлянул и сказал:

– Послушайте, – а если б я вам немножко приплатил, вы бы... я бы... ну, словом, – можно было бы мне принимать, кого хочу?

– Это еще вопрос, – сказал старичок.

– Несколько лишних марок, – сказал Франц.

– Я понимаю, – сказал старичок.

– Еще пять марок в месяц, – сказал Франц.

– Ладно, – кивнул старичок – и тут-то добавил наставительно и лукаво, – смотрите, не опоздайте на службу.

Так сразу пропал даром весь труд Марты, не стоило ей так торговаться. Но Франц, решив приплачивать тайно, из собственных денег, отлично почувствовал, что поступил опрометчиво. Деньги таяли, а Драйер все не звонил. В продолжение четырех дней он с отвращением, ровно в восемь, уходил из дому и в тумане усталости возвращался после семи. Пресловутый проспект и улицы, его пересекавшие, вконец ему опротивели. Матери он послал открытку с видом этого проспекта, написал, что здоров, что Драйер добрейший человек: незачем было пугать старушку. И только в пятницу вечером, часов в одиннадцать, когда Франц уже лежал в постели и говорил себе, в паническом трепете, что все его забыли, что он совершенно один в чужом городе, – и с каким-то злорадством думал: «Нет, дудки! Завтра скажусь больным, проваляюсь весь день, а вечером махну в какие-нибудь зланные места», – в это мгновение постучался старичок и сонным голосом позвал его к телефону.

Франц, страшно спеша и волнуясь, натянул на ночную рубашку штаны, кинулся босиком в коридор, зацепился болтавшимися подтяжками о ручку двери, рванулся, резина больно хлопнула по уху, – замелькали темные стены коридора, какой-то сундук успел мимоходом хватить его по колену, и наконец райским блеском заиграло на стене телефонное сооружение. Оттого ли, что Франц к телефонам не привык, оттого ли, что он так был взволнован, так запыхался, – но сначала никак ему не удавалось разобрать голос, лающий ему в ухо. «Сию минуту приходи ко мне на дом, – наконец ясно сказал голос, – слышишь? Пожалуйста, поторопись. Я тебя жду...» – «Ах, здравствуйте, здравствуйте...» – залепетал Франц, но телефон уже был пуст. С размаху повесив трубку, Драйер опять облокотился на стол и продолжал торопливо вписывать в большую карманную книжку все, что ему нужно завтра сделать. Потом он взглянул на часы, соображая, что сейчас жена должна вернуться из кинематографа. Проворной ладонью он потер себе лоб и, хитро улыбнувшись, достал из ящика связку ключей и трубковидный электрический фонарик с выпуклым глазом. Был он еще в пальто, – только что приехал домой, – и прямо так, в пальто, прошагал в кабинет, как он всегда это делал, когда спешил что-нибудь записать, куда-нибудь позвонить. Теперь он шумно отодвинул стул и, снимая на ходу мохнатое, широкое, желтое свое пальто, прошел в переднюю, где его и повесил. Затем опустил в огромный карман уже успокоившегося пальто ключи и фонарик. Том, лежавший у двери, встал, потерся нежной головой о его ногу и улегся опять. Драйер звонко заперся в уборной, где на беленой стене дремали маленькие, состарившиеся комары, и через минуту, уже домашней, неторопливой походкой, прошел обратно в кабинет, а оттуда в столовую.

Там стол был накрыт, алела вестфальская ветчина на блюде, среди мозаики ливерной колбасы. Крупный виноград, словно налитой светом, свешивался с края вазы. Драйер оторвал ягоду, бросил ее себе в рот, покосился на ветчину, но решил подождать Марту. В зеркале отражалась его широкая, светло-серая спина, теневые перехваты на сгибе рукава, желтые пряди приглаженных волос. Он быстро обернулся, будто почувствовал, что кто-то смотрит на него, отодвинулся, и в зеркале остался только ярко-белый угол накрытого стола на черном фоне, где темновато-драгоценно поблескивал хрусталь на буфете. Вдруг по той стороне тишины раздался легчайший звук: кто-то искал в тишине чувствительную точку; нашел; пронзил ее ударом ключа, отчетливо повернул, – и все оживилось: в зеркале раза два прошло серое плечо Драйера, жадно зашагавшего вокруг ветчины; стукнула дверь, вошла Марта, блестя глазами и крепко вытирая нос душистым платком; за ней вошла, мягко выкидывая лапы, совсем проснувшаяся собака.

– Садись, садись, моя душа, – бодро воскликнул Драйер и включил хитрый электрический ток, согревающий воду для чая. Марта улыбалась. Вообще, последнее время она улыбалась довольно часто, чему Драйер был несказанно рад. Она находилась в приятном положении человека, которому в близком будущем обещано удовольствие. Она готова была ждать некоторый срок, зная, что удовольствие придет непременно. Нынче она вызвала маляров, чтобы освежить фасад дома. После кинематографа она разомлела, проголодалась и с наслаждением думала, что вот сейчас, сейчас, утолив грубоватый вечерний голод, завалится спать.

С парадной донесся взволнованный звонок. Том резво залаял. Марта удивленно подняла брови. Драйер с таинственным смешком встал и, жуя на ходу, пошел открывать.

Она сидела, полуобернувшись к двери, держа на весу чашку. Когда Франц, шутливо подталкиваемый Драйером, боком вошел в столовую, резко остановился, щелкнул каблуками и быстро к ней подошел, она так прекрасно улыбнулась, так жарко блеснули ее губы, что в душе у Драйера какая-то огромная веселая толпа оглушительно зарукоплексала, и он подумал, что уж после такой улыбки все будет хорошо: Марта, как некогда, будет захлебываясь рассказывать о кинематографе, о новом удивительном платье, – и в воскресенье, вместо тенниса (какой там теннис в дождь!), он с нею поедет кататься верхом в шуршащем, солнечном, оранжевом парке.

– Прежде всего, мой дорогой Франц, – сказал он, пододвинув стул, – закуси. И вот тебе рюмка коньяку.

Франц, как автомат, выбросил через стол руку, нацелясь на протянутую рюмку, сшиб вазочку с тяжелой, коричневатой розой («которую давно следовало убрать», – подумала Марта), и цветая вода отвратительным узором растеклась по скатерти.

Он окончательно растерялся, – и немудрено. Во-первых, он вовсе не ожидал увидеть Марту. Ему казалось, что Драйер примет его в кабинете и сообщит ему о важном, очень важном деле, за которое он, Франц, тотчас должен взяться. Улыбка Марты разом его оглушила. Он мгновенно выяснил про себя причину тревоги. Как то семя, которое факир зарывает в землю, чтобы истошным колдовством вытянуть из него живое дерево, просьба Марты скрыть от Драйера их невинное похождение, просьба, на которую он тогда едва обратил внимание, теперь, в присутствии Драйера, мгновенно и чудовищно разрослась, обратившись в тайну, которая странно связывала его с Мартой. Вместе с тем он вспомнил слова старичка о подруге, и ему стало жарко, сладко и стыдно. Он попробовал сбросить с себя наваждение, посмотреть на Марту спокойно и весело; но встретив ее нестерпимо пристальный взгляд, он беспомощно продолжал потапывать платком по мокрой скатерти, несмотря на то, что Драйер смеялся и отстранял его руку. Еще так недавно он лежал в постели, – и вдруг теперь оказался в поблескивающей столовой, и, как во сне, страдал оттого, что не может остановить струйку, обогнувшую солонку и под прикрытием края тарелки норовившую добежать до сгиба скатерти. Марта, улыбаясь (завтра все равно нужна будет свежая скатерть), перевела взгляд на его руки, на нежную игру суставов под натянутой кожей, – на трепещущие длинные пальцы и почему-то почувствовала, что на ней не надето сегодня ничего шерстяного.

Драйер вдруг поднялся и сказал:

– Франц, – это может быть негостеприимно, – но ничего не поделаешь, уже поздно, – нам нужно с тобой ехать...

– Куда? – растерянно спросил Франц, засовывая мокрый комок платка в

карман. Марта с холодным удивлением взглянула на мужа.

– Это ты сейчас увидишь, – сказал Драйер, и глаза его засветились знакомым Марте огоньком.

«Какая чепуха, – подумала она злобно. – Что это он затеял?»

В передней она задержала его и скороговоркой прошептала:

– Куда ты едешь? Куда ты едешь? Я требую, чтобы ты мне сказал, куда ты едешь?

– Кутить, – весело ответил Драйер, в надежде вызвать еще одну прекрасную улыбку.

Она дернулась; он потрепал ее по щеке и вышел. Марта вернулась в столовую, постояла в раздумье за стулом, на котором только что сидел Франц; потом с раздражением приподняла скатерть там, где была пролита вода, и подложила под скатерть тарелку. В зеркале отразилось ее зеленое платье, нежная шея под темной тяжестью шиньона, блеск мелких жемчужин. Она даже не почувствовала, что зеркало на нее глядит, – и, медленно двигаясь, убирая ветчину, продолжала изредка в нем отражаться. Потом потушила в столовой свет и, погрызывая ожерелье, поднялась к себе в спальню.

«Так оно, должно быть, и есть, – думала она. – Сведет его с какой-нибудь потаскухой, а та заразит... Вот и пропало...»

Она медленно стала раздеваться и вдруг почувствовала, что сейчас расплечется. Этого еще не хватало. Погоди, погоди, когда вернешься. Особенно, если пошутил... И, вообще, что это за манера: пригласить и увести... Ночью... Черт знает что... черт знает что...

Она снова, как уже много раз, перебрала в памяти все прегрешения мужа. Ей казалось, что она помнит их все. Их было много. Это ей не мешало, однако, говорить сестре, когда та приезжала из Гамбурга, что она счастлива, что у нее брак счастливый. И действительно: Марта считала, что ее брак не отличается от всякого другого брака, что всегда бывает разлад, что всегда жена борется с мужем, с его причудами, с отступлениями от исконных правил, – и это и есть счастливый брак. Несчастный брак – это когда муж беден, или попадает в тюрьму за темное дело, или тратит деньги на содержание любовниц, – и Марта прежде не сетовала на свое положение, – так как оно было естественное, обычное...

Она почти не знала его, когда семь лет тому, ее родители, разорившиеся купцы, без труда уговорили ее выйти за легко и волшебю богатевого Драйера. Он был очень веселый, пел смешным голосом, подарил ей белку, от которой дурно пахло... Только уж после свадьбы, когда муж, ради медового месяца в Норвегии, – и почему в Норвегии, неизвестно, – отказался от важной деловой поездки в Берн, только тогда кое-что выяснилось.

#### IV

В темноте таксомотора (могучий черный «Икар» был еще в починке) Драйер молчал; таинственно тлел воспаленный огонь его сигары. Франц молчал тоже, с томным, бредовым беспокойством недоумевая, куда это его везут. После третьего поворота он совершенно потерял чувство направления.

До сего дня он успел изучить только тихий район, где жил, да район проспекта, в другом конце города. Все, что лежало между этими двумя живыми оазисами, было неизведанным туманом, так что образ столицы в его сознании напоминал те первые карты, на которых географ, еще не остывший после странствий, начертал все, что открыл, обдав остальное облачной синевой и поразив суеверные умы размашистой «Терра Инкогнита». Он глядел в окно, и ему казалось, что темные улицы понемногу светлеют, опять меркнут, опять набираются света, разгораются пуще, сдают снова и внезапно уже с какой-то искристой уверенностью, возмужав в тесноте тьмы, прорываются небывальными огнями, синими и румяными водопадами световых реклам. Проплывала туманная церковь, как тяжелая тень среди озаренных воздушных зданий, – и, промчавшись дальше, с разбегу скользнув по блестящему асфальту, автомобиль пристал к тротуару.

И только тогда Франц понял. Сапфирными буквами, алмазным хвостом, продолжавшим в бок конечный ипсилон, сверкала пятисаженная надпись: «Дэнди». Драйер взял его под руку и молча подвел к одной из пяти, в ряд сиявших витрин. В ней, как в оранжерее, жарко цвели галстуки, то красками переговариваясь с плоскими шелковыми носками, то млея на сизых и кремовых прямоугольниках остальных четырех витрин: чередой мелькнули оргии блесуков, – а в глубине, как бог этого сада, стояла во весь рост опаловая пижама с восковым лицом. Но Драйер не дал Францу засмотреться; он быстро провел его мимо остальных четырех витрин: чередой мелькнули оргии блестящей обуви, фата-моргана пиджаков и пальто, легкий полет шляп, перчаток и тросточек, солнечный рай спортивных вещей, – и Франц оказался в темной подворотне, где стоял старик в черной накидке с бляхой на фуражке; а рядом с ним – тонконогая женщина в мехах. Они оба посмотрели на Драйера, сторож узнал его и приложил руку к козырьку; яркоглазая беленая проститутка, поймав взгляд Франца, слегка отодвинулась, – и как только он, следом за Драйером, исчез в темноту двора, продолжала свою тихую, дельную беседу со сторожем о том, как лечить ревматизм.

Двор был темный, треугольный тупик, косо срезанный слева глухой стеною. Пахло сыростью и почему-то вином. В одном углу не то свалено было что-то, не то стояла телега с поднятыми оглоблями; во мраке не различить. Драйер вдруг вынул из кармана электрический фонарик, и скользнувший круг серого света наметил решетку, спускавшиеся ступеньки и затем железную дверь, которую он, радуясь, что избрал самый таинственный вход, тихо и быстро отпер. Франц, нагнув голову,

прошел вслед за ним в темный каменный коридор, где снова светящийся круг выхватил дверь, которая, при всякой незаконной попытке ее отпереть, залилась бы громовым звоном. Но и к ней у Драйера нашелся беззвучный ключ, и Франц опять нагнул голову. В сумрачном проходе, по которому они теперь шли, громоздились там и сям какие-то тюки, ящики, под ногами шуршала солома. Фонарик подвижным испытующим светом обходил углы, – и снова выросла дверь, а за ней поднялась голая, каменная, тающая в темноте лестница. Они зашаркали вверх и вдруг, с неожиданностью сна, оказались в огромном туманном помещении. Свет скользнул по какой-то металлической виселице, по складкам портьер, по створчатым зеркалам, по черным плечистым фигурам, будто только что обезглавленным, – и свернув налево, потом направо, за какие-то гигантские шкапы, Драйер остановился, спрятал свой фонарик и в темноте тихо сказал: «Внимание!..» Он пошуршал рукой по стене, и вспыхнула одна грушевидная лампочка, ярко озарившая прилавок. Вся остальная часть зала, – широкий, бесконечный лабиринт – тонула в темноте, и было что-то жутковатое в том, что один только этот угол выделен желтым светом из всего огромного мрака. «Первый урок», – таинственно сказал Драйер и зашел за прилавок.

Этот фантастический ночной урок вряд ли принес пользу Францу, – слишком все было странно, и слишком прихотливо Драйер изображал приказчика. Но все же в самой сказочности угловатых отсветов и призрачной бездны кругом, где смутные, усталые, за день перещупаные вещи отдыхали в причудливых положениях, было нечто, что надолго запомнилось Францу и дало какую-то темную, роскошную окраску тому основному фону, на котором потом ежедневно приказчиный труд стал чертить свой простой, понятный, подчас докучливый узор. И Драйер, в эту ночь показывая Францу, как нужно продавать галстуки, следовал не прошлому опыту, не воспоминанию о тех, уже далеких, годах, когда он и вправду служил за прилавком, – а поднялся в упоительную область воображения, показывая не то, как галстуки продают в действительности, а то, как следовало бы их продавать, будь приказчик и художником, и прозорливцем.

– Я хочу простой, синий... – деревянным ученическим голосом говорил Франц.

– Пожалуйста, пожалуйста, – бодро отвечал Драйер и, проворно достав с полки несколько плоских, длинных картонных коробок, так же проворно раскрывал их на прилавке.

– Как вам нравится этот? – задумчиво спрашивал он, завязывая на руке пятнистый фиолетовый галстук и слегка его отстраняя, словно сам любовался им.

Франц молчал.

– Очень важный прием, – понизив голос, объяснил Драйер. – Посмотрим, отметил ли ты, в чем дело. Теперь ты иди за прилавок. Вот в этой коробке галстуки одноцветные; они стоят по четыре, по пяти марок; а вот тут – модные, пестроватые, по восьми, по десяти, по четырнадцати, прости Господи. Итак, ты – приказчик, а я – молодой

человек, неопытный, неустойчивый, легко соблазнимый.

Франц, стесняясь, стал за прилавок. Драйер, слегка сгорбившись и почему-то щурясь, тонким, неуверенным голосом сказал:

– Я хочу простой, синий... и подешевле. Улыбнись... – добавил он суфлерским шепотом.

Франц ослабился и, низко склоняясь над одной из коробок, неловко пошарил и вынул простой, синий галстук.

– Вот и попался! – весело громынул Драйер. – Значит, не понял. Ты мне суешь самый дешевый. А нужно было сделать так, как я сделал, – показать сперва какой-нибудь подороже, – все равно какого цвета, – только подороже, да поизящнее, авось соблазнишь. Вот, бери этот. Теперь завяжи на руке. Да стой, – не мни его так. Совсем легко и – главное – мгновенно. Он должен у тебя сразу расцвести. Нет, это не узел, а какой-то нарост. Смотри. Держи руку прямо. Вот так. Теперь я, значит, гляжу на эту шелковую радугу и все-таки не поддаюсь соблазну:

– Я просил синий, одноцветный, – сказал Драйер тонким голосом – и снова зашептал: – да нет же, нет же, – продолжай совать дорогие, может быть, доймешь его; и наблюдай за ним, за его глазами, – если он смотрит, это уже хорошо. Вот только, если он не смотрит вовсе и начинает хмуриться, – только тогда, – понимаешь: только тогда, – выдай ему то, что он просил. Но при этом вот так, – гляди, – легонько пожми плечом и чуть брезгливо улыбнись: это, мол, совсем не модно, это, в сущности говоря, дрянь, – но уж если хотите...

– Я возьму вот этот – синий, – сказал Драйер тонким голосом.

Франц мрачно передал ему галстук через прилавок. Драйер расхохотался, разбудив странное эхо.

– Нет, – сказал он, – нет, мой друг. Сперва отложи в сторонку, потом спроси, не угодно ли еще чего, – и только потом – запиши, выдай билетик на кассу и так далее. Это тебе завтра покажет господин Пифке, – большой педант. Теперь, слушай дальше...

И немного грузно подсев на прилавок, отбросив при этом резкую черную тень, которая головой вперед нырнула в темноту, подступившую ближе, чтобы лучше слышать, Драйер, перебирая блестящий шелк, с наслаждением погружая руки в коробки, – стал рассказывать, как запоминать галстуки по цветам, как воспитать в себе цветную память, как вымарывать из сознания уже проданные узоры, очищая место для новых, и как на глаз, не только наощупь, сразу определять стоимость. Несколько раз он вскакивал, изображая покупателя, на все сердитого, покупателя, которому денег не жаль, старушку, покупающую галстук для внука, иностранца, не умеющего ничего толком сказать, – и сам себе тотчас отвечал, легонько опираясь пальцами о прилавок и придумывая для каждого случая особую разновидность улыбки, особый оттенок голоса. Затем, снова усевшись, слегка раскачивая ногой в желтом блестящем башмаке (и его тень взмахивала на полу черным крылом), он

говорил о том, с какой нежностью и как весело нужно относиться к вещам, о том, что бывает до смешного жалко тех постаревших галстуков и носков, которых уже никто не покупает, и странная, мечтательная улыбка щекотала ему усы, морщила и снова расправляла складки у губ, – и Франц, прислонясь к шкапу, слушал в смутном оцепенении, – и жадно косился изредка на шелковые чудеса, рассыпанные по прилавку.

Драйер умолк, потом тихонько засмеялся. Опять вынув фонарик, он повел Франца по темному бобрику в туманные дебри зала, на ходу откинул полотно с какого-то столика, осветив играющие, как глаза, несметные запонки на голубой бархатной подушке, – а немного дальше столкнулся на пол огромный кожаный мяч, который беззвучно покатился в сумрак. Снова они зашагали по каменным коридорам, и, запирая последнюю дверь, Драйер улыбался, вспоминая легкий, таинственный беспорядок, который он оставил за собой, и как-то не думая о том, что кому-то другому, быть может, придется за это отвечать.

Он кликнул таксомотор, когда они вышли из темного двора на мокрую, огнистую улицу, и предложил Франца подвезти. Но Франц, давась чудесным волнением, вдруг наполнившим его при виде ночной улицы, глухо сказал, что пойдет пешком.

– Как хочешь, – рассмеялся Драйер и, высунувшись из таксомотора, крикнул напоследок: – завтра, ровно в девять, в контору!

На глянцебитом, гладком асфальте были смутные, сливающиеся отражения, – красноватые, лиловатые, – будто затянутые плевой, которую там и сям дождевые лужи прорывали большими дырками, и в них-то сквозили живые подлинные краски, – малиновая диагональ, синий сегмент, – отдельные просветы в опрокинутый влажный мир, в головокружительную, геометрическую разноцветность. Перспективы были переменчивы, как будто улицу встряхивали, меняя сочетания бесчисленных цветных осколков в черной глубине. Проходили столбы света, отмечая путь каждого автомобиля. Витрины, лопааясь от тугого сияния, сочились, прыскали, проливались в черноту.

И на каждом углу, как знак небывалого счастья, стояла светлоногая женщина, – но времени не было заглянуть ей в лицо, уже звала вдали другая, за нею – третья, – и Франц уже знал, уже знал, куда ведут эти живые, таинственные маяки. Каждый фонарь, звездой расплывавшийся во мраке, каждый румяный отблеск, каждое содрогание перемещавшихся, перекликавшихся огней, и черные фигуры, поверявшие друг дружке душевные, сладкие тайны в углублениях подъездов, и чьи-то полураскрытые губы, скользнувшие мимо, и черный, влажный, нежный асфальт, – все приобретало значение, сочеталось в одно, получало имя...

Потный, млеющий от растущей неги, он, точно сомнамбула, привлеченный обратно еще не остывшей подушкой, чмокая и вздыхая, медленно повалился на постель, не заметя, как вошел в дом, как попал к себе в комнату. Он провел ладонями по своим теплым, мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением кружения и легкости, – и почти тотчас сон с поклоном выдал ему ключи города, он понял значение всех огней, гудков, женских взглядов, все слилось медленно в один

блаженный образ. Он будто находился в какой-то зеркальной зале, которая чудом обрывалась к воде, вода сияла в самых неожиданных местах, и направившись к двери, мимо вполне уместной мотоциклетки, которую пускал в ход квартирный хозяин, – Франц, в предчувствии неслыханного наслаждения, дверь осторожно открыл и увидел Марту, сидевшую на краю постели. Он быстро подошел, но в ногах у него путался Том, – и Марта смеялась и отгоняла собаку. Он теперь близко видел ее блестящие губы, вздувающуюся от смеха шею, – и заторопился, чувствуя, как нарастает в нем нестерпимая сладость; и он уже почти прикоснулся к ней, но вдруг не сдержал вскипевшего блаженства.

Марта вздохнула и открыла глаза. Ей показалось, что ее разбудил близкий шум. Действительно, – на соседней постели особенно развязно храпел ее муж. Она тотчас вспомнила, что легла спать, не дождавшись его прихода. Привстав, она громким голосом позвала его, потом, потянувшись через ночной столик, стала грубо ерошить ему волосы. Вольный храп оборвался. Вспыхнула на столике лампа. «Пробуждение зверя», – сказал Драйер, сонно улыбаясь и, как ребенок, кулаками протирая глаза. «Где ты был?» – резко спросила Марта. Он туманно посмотрел на ее обнажившееся плечо, на длинную, темную прядь, падающую ей на щеку, – и, медленно откидываясь опять на подушку, тихонько рассмеялся.

– Показывал ему магазин, – уютно пробормотал он... – ночной урок... очень занятно...

Марта сразу размякла. Ей стало необыкновенно легко и радостно. Она молча повернула выключатель. Тишина.

– Поедем в воскресенье верхом, а? – вдруг сказал в темноте голос. Но она уже спала. Голос повторил свой вопрос, – шепотом, в еще более вопросительной форме; подождал. – Потом – сонный вздох, скрип постели, молчанье – и снова – медленно разбегающийся храп.

Утром, пока он поспешно кокал ложечкой по яйцу, перед тем как махнуть в контору, горничная ему доложила, что автомобиль в порядке и уже подан. Драйер при этом вспомнил, что последние дни, – особенно после недавней катастрофы, – ему то и дело приходила в голову пресмешная мысль, которую он все как-то не успевал до конца продумать. А нужно действовать осторожно, обходными путями, как изящный сыщик; иначе, пожалуй, ничего не добьешься. Он залпом выпил кофе – и, помигивая, стал себе наливать вторую чашку. «Я, быть может, ошибаюсь... умора, все-таки...» Он проглотил сахарную жижицу на дне чашки, бросил на стол салфетку и торопливо вышел. Салфетка медленно сползла с края стола и вяло упала на ковер.

Да, автомобиль был в порядке. Сиял он черным лаком, стеклами окон, металлом фонарей, сияла гербовидная марка на серебре над решетом радиатора: золотой крылатый человечек на эмалевой лазури. Шофер, улыбаясь в легком смущении, показывая желтые неровные зубы, снял свой синий картуз и отпахнул полную отражений дверцу. Драйер исподлобья посмотрел на него.

– Здравствуйте-здоровствуйте, – сказал он. – Итак, мы снова вместе. –

Он застегнул на все пуговицы пальто и продолжал: – Это, должно быть, обошлось дорого... нет, – я еще счета не посмотрел. Но не в том дело. В сущности говоря, я готов и дороже платить за такое удовольствие. Трах, трах и еще раз трах. Прелесть. Но ни жена моя, ни полиция не понимают этого удовольствия...

Он подумал, что еще сказать, но не придумал, расстегнул опять пальто и сел в автомобиль. «Физиономию его я осмотрел основательно, – думал он под нежное мурлыканье мотора. – И все-таки ничего еще нельзя решить. Глаза, конечно, веселенькие, мешочки под ними, – но это может быть от природы. Щеки, нос в красных жилочках, одного зуба не хватает, – тут тоже греха нет, бывает со всяким. В следующий раз надобно его хорошенько понюхать».

В это утро, как было решено, он представил Франца господину Пифке. Пифке был, как говорится, «с иголочки» одетый человек, представительный, плотный, со светлыми ресницами, с младенческим цветом кожи, с лицом, благоразумно остановившимся на полпути к кувшинному рылу, и с бриллиантом второстепенной воды на пухлом мизинце. К Францу он почувствовал уважение, как к племяннику хозяина, Франц же с завистью глядел на архитектурные складки его штанов и на прозрачный платок, склонившийся из грудного карманчика.

О вчерашнем причудливом уроке Драйер не упомянул, а самое забавное то, что Франц в отдел галстуков вовсе и не попал, а был определен Пифке, с полного одобрения Драйера, в отдел спортивный. Пифке взялся за работу ревностно, – и его приемы обучения значительно отличались от приемов Драйера: в них было арифметики гораздо больше, чем Франц ожидал. Не ожидал он и того, что так будут ныть ноги от непрерывного стояния, и что так будет ныть лицо от механической приветливости. В его помещении было куда тише, чем в других, так как дело было осенью. Довольно бойко шли всякие гимнастические пружины, лопатки и целлулоидовые мячики для мелкой лупни в пинг-понг, боксовые перчатки, производившие на ощупь ощущение какой-то скрипучей тучности, палки для хоккея, шерстяные шарфы в разноцветных полосках, футбольные сапоги на резиновых кнопках, с длинными белыми шнурками. Благодаря существованию в столице крытых бассейнов для плавания и огромных сараев для игры в теннис, был еще небольшой спрос на купальные костюмы и на ракеты. Но вместе с летом настоящая их пора миновала, забыты были резиновые негры да рыбы, белые туфли, козырьки против солнца, – меж тем как для других принадлежностей спорта, для желтых и коричневых лыж, плоских саночек, предназначенных мускулисту животу, больших санок с рулем и тормозом, блестящих коньков разнообразного вида, – время еще не пришло. Таким образом, обучению Франца никакой наплыв покупателей не мешал, и был у него полный досуг изучить дело. Коллегами его были две барышни, одна рыжая, остроносая, другая энергичная, с кислым запахом, сопровождавшим ее неотвязно, и атлетического сложения, до лоску выбритый молодой человек в таких же черепаховых очках, какие носил Франц. Он небрежно ему рассказал о призах, которые брал на состязаниях плавания, и Франц ему позавидовал, так как сам плавал отлично. С ним же, оваянный его советами, Франц выбирал себе материю для костюма, галстуки, рубашки, носки. И он же помог ему разобраться в тайнах продажи гораздо больше, чем Пифке, настоящее дело которого

было разгуливать по магазину, торжественно и учтиво устраивая там и сям свидание между покупателем и приказчиком.

В первые дни, немного растерянный, немного оглушенный, с ломотой во всем теле, Франц просто пребывал в уголку, стараясь не обращать на себя внимание и жадно следя за действиями атлета и обеих барышень, запоминая их профессиональные интонации и движения, и вдруг, так неожиданно, так нестерпимо-живо, воображая пробор и темный шиньон. Потом, ободренный заботливыми взглядами сослуживца, исполненный его спокойных намеков, он стал и сам продавать.

Он навсегда запомнил первого покупателя – толстого господина, который попросил мяч. Мяч... В ту же минуту этот мяч в его воображении запрыгал, размножился, рассыпался, и он почувствовал у себя в голове все мячи, все мячики, все мячишки, которые были в магазине, – большие кожаные из сшитых частей, и бархатисто-белые, с фиолетовой подписью фирмы, и маленькие, черные, твердые, как камень, и легкие, прелегкие, оранжевые, прыгающие с лепечущим звуком, и целлулоидовые, и веревчатые, и деревянные, и костяные, – и все они раскатились в разные стороны, оставя один, сияющий, как на рекламе, шар, когда покупатель спокойно добавил: «Мне нужен мячик для моей собаки».

– Третья полка справа, фирмы Туфпруф, – мимоходом шепнул атлетический коллега, и Франц, с радостной улыбкой, с бисером пота на лбу, с туманом на стеклах очков, рванулся, засуетился – и, наконец, нашел.

И сравнительно очень скоро, через какой-нибудь месяц, он совершенно привык к делу, уже не волновался, не боялся переспрашивать косноязычных, свысока давал советы худосочным. Довольно стройный, довольно широкий в плечах, не пухлозадый, как Пифке, но и не жилистый, как коллега-атлет, Франц с удовольствием отмечал свое прохождение в зеркалах и равнодушно полагал, что приказчицы – та, с рыжинкой, и та, с запашком, – тайно им увлечены. Он завел себе самопишущую ручку с серебряной зацепкой, два патентованных карандаша, и в хорошей парикмахерской полукругом выбрил шею. Прыщики на переносице сперва были запудрены, потом прошли вовсе. Выжаты были мельчайшие угри, дружно жившие по бокам носа, близ угловатых его ноздрей. Перестала лосниться впадинка подбородка, и он ежедневно брился, уничтожая не только твердый темный волос на щеках и на шее, но и легкий пух на скулах. Он стал холить руки и употреблял душистую воду для волос. Вообще, он сошел бы за приличнейшего, обыкновеннейшего приказчика, если бы вот не эта чуть хищная угловатость ноздрей, да какая-то странная слабость в очертаниях губ, как будто он запыхался, да глаза за стеклами очков, – беспокойные глаза, нечистого цвета, со всегда воспаленными жилками на белках. И нехорошо было, что одна коричневая прядь имела обыкновение отклеиваться и спадать ему на висок, до самой брови.

Но в конце концов, – Пифке, приказчик-пловец, блестящие ракеты с янтарными струнами, и бодрый диалог с покупателем, и автоматическая запись, и эти полки, ящики, выставки, прилавки – и остальная огромная часть магазина, гудящая за перегородкой, – все это было поверхностно, проходило мимо, не задевало, не занимало, – как будто

он был одной из тех молодцеватых фигур с восковыми лицами, в костюмах, выглаженных утюгом идеала, стоявших на подмостках с чуть протянутыми, согнутыми в локтях руками. Молодые покупательницы или быстроногие стриженные приказчицы других отделов нисколько не волновали его. Как цветные, коммерческие объявления, которые, без музыки, долго мелькают перед началом обольстительного фильма, – все это было вполне необходимо и вполне незначительно. В семь часов это обрывалось. Тогда-то начиналась музыка.

Почти ежевечерне, – и какая чудовищная тоска таилась в этом «почти», – он бывал в доме у Драйера. Обедал он там только по воскресеньям, да и то не всегда; в будни же столовался в ресторанчике неподалеку от магазина. Зато по вечерам, вот уже больше месяца, вот уже, пожалуй, двадцать, двадцать пять вечеров...

Всегда было то же самое: жужжанье калитки, фонарь, освещающий тропу, сырое дыхание газона, хруст гравия, звонок, улетающий в дом в погоню за горничной, белый свет, спокойное, лошадиное лицо Фриды, – и вдруг – жизнь, нежный гром музыки из трубы радио...

Она обыкновенно бывала одна; Драйер приезжал ровно к ужину – всегда очень точно, и всегда предупреждал по телефону, когда опаздывал. В его присутствии Франц чувствовал себя до одури неловко, и потому воспитал в себе, в те дни, какую-то мрачную фамильярность по отношению к Драйеру. Пока же он был наедине с Мартой, он все время ощущал где-то на затылке давление, томную тяжесть, и в груди была духота, в ногах – слабость, ладонь долго хранила сухую прохладу ее крепкого рукопожатия. С точностью до полудюйма он отмечал ту черту, до которой она показывала ноги, – когда ходила по комнате, когда сидела, положив ногу на ногу, – и чувствовал, почти не глядя, тугий теплый лоск ее чулка, вздутие левой икры, подпертой правым коленом, складки на юбке, пологие, нежные, к которым хотелось прижаться лицом. Иногда, когда она, встав, шагала мимо, к трубе радио, свет так падал, что в легкой ткани юбки сквозили тени ее ног выше колен, а раз у нее лесенкой порвался чулок, и, облизнув палец, она быстро провела им по шелку. Изредка, переборов томную тяжесть, он поднимал глаза, и, пользуясь мгновением, когда она смотрела вниз или в сторону, искал хоть какого-нибудь недостатка, на котором он мог бы опереть мысль и отделаться от безнадежного волнения. Иногда, мимолетно, ему казалось, что он нашел что-то, – некрасивую черточку у рта, щербинку над бровью, слишком хмурую выпуклость губ в профиль и тень пушка над ними, особенно заметную, когда с ее лица сходила пудра; но малейший поворот головы, малейшая перемена выражения снова придавали ее лицу такую прелесть, что он не в силах был дольше смотреть. Вот такими быстрыми, короткими взглядами он изучил ее всю, предчувствовал движение ее проворно поднявшейся руки, когда гребешок отлипал одним концом от тяжелого шиньона, знал синус и косинус темной пряжи, дугообразно прикрывавшей ухо; но, быть может, больше всего его мучила ее голая, белая, будто нежно-зернистая шея и те пределы наготы, которые проводило то или иное платье. Был вечер, когда он увидел коричневое пятнышко на ее руке. Был вечер, когда, при случайном повороте ее стана, при случайном наклоне, он заметил неясную тeneвую впадину, и почувствовал облегчение, когда серый шелк лифа опять тесно облек ей грудь. И был вечер, когда она собиралась

на бал, и он был поражен тем, что у нее под мышками бело, как у статуи. Она расспрашивала его о детстве, о матери, о родном его городке. Как-то раз Том положил морду к нему на колени и, зевнув, обдал его нестерпимым запахом – не то селедки, не то просто тухлятины. «Вот так пахнет от моего детства», – тихо сказал Франц; она не расслышала или не поняла, переспросила, но он не повторил. Он рассказывал ей о школе, о пыли и скуке школьных будней и о том, как соседний мясник, почтеннейший господин в белом жилете, приходил к ним в гости и с отвратительным профессиональным видом ел баранину. «Почему „отвратительно“? – удивленно перебивала Марта. – Вы же сказали, что он вполне благовоспитанный». – «Бог знает, что мелю», – упрекал себя Франц и с механическим увлечением в сотый раз описывал реку, теплые мостки, веселую купальню и канат, не служивший для него границей.

Она включала радио, он благоговейно слушал урок испанского языка, речь о пользе спорта и сладостную гнусавую музыку. Она подробно рассказывала ему о последней кинематографической новинке, об удаче Драйера в дни инфляции и о том, как выводить фруктовые пятна. И в это время она думала: «Когда же он наконец раскачается?» – и вместе с тем ее забавляло и как-то даже трогало, что вот он такой неуверенный, бестолковый, и что без ее помощи он, пожалуй, не раскачается вовсе. Но понемногу чувство досады начинало преобладать. Время уходило на пустяки, как уходят на пустяки деньги, когда из-за железнодорожной забастовки застреваешь в скучном городе. Смутная обида ей шептала, что вот у ее сестры было уже три любовника, один за другим, а у молоденькой жены Вилли Грюна – два – и зараз. Меж тем ей шел тридцать пятый год. Пора, пора. Постепенно она получила мужа, прекрасную виллу, старинное серебро, автомобиль, – теперь очередной подарок – Франц. И все это было не совсем так просто, – какой-то был приبلудный ветерок, какая-то подозрительная нежность...

Франц, ошавев от бессонницы, распахнул окно. Бывают такие ночи поздней осенью, когда вдруг, откуда ни возьмись, проходит теплое влажное дуновение, случайно задержавшийся вздох лета. Он стоял, держась за рамы, потом высунулся, уныло выпустил длинную слюну и прислушался, ожидая, чтоб шлепнулся плевком о панель. Но он жил на пятом этаже и ничего не услышал. Тогда он окно закрыл, выпил залпом, – хоть пить не хотелось, – воды, отдававшей мятным порошком, и опять лег. Он спохватился в эту ночь, что знает Марту уже больше месяца, мучится невыносимо. И на полупакостном, полувыспренном языке, на котором он сам с собою говорил, Франц зашептал в подушку: «Будь, что будет... Лучше изменить поприщу, нежели дать черепу лопнуть по швам. Я завтра, завтра схвачу ее и повалю, – на диван, на пол, на битую посуду – все равно...»

Завтра настало. Дрожа от легкого озноба, он почему-то переменял белье и носки раньше, чем отправиться к ней. Отправился. По дороге убеждал себя, что она несомненно его любит, только не показывает, из гордости. И это жаль. Склонилась бы к нему, как бы случайно, дотронулась бы щекой при слепом совместном осматривании альбома. Тогда было бы легче. Но тут он подтянулся и сказал себе: «Это слабость, не нужно слабости»... Пусть она будет сегодня еще холоднее, чем обычно, – все равно, – сегодня, сегодня, сегодня... Пока он звонил

у двери, мелькнула острая надежда, что может быть, случайно, Драйер уже дома. Драйера не было дома.

Проходя через первые две комнаты, он так живо вообразил, как, вот сейчас, толкнет вон ту дверь, войдет в гостиную, увидит ее в открытом сером платье, сразу обнимет, крепко, до хруста, до обморока, – так живо вообразил он это, что на мгновение увидел впереди свою же удаляющуюся спину, свою руку, – вон там, в трех саженях отсюда – открывающую дверь, – а так как это было проникновение в будущее, а будущее не дозволено знать, то он и был наказан. Во-первых, он зацепился о ковер, у самой двери, и раскрыл дверь с размаху. Во-вторых, гостиная была пуста. В третьих, когда Марта вошла, она оказалась в бежевом платье, с закрытой шеей. В-четвертых, он почувствовал такую знакомую, томную, жаркую робость, что дай Бог держаться, как следует, говорить членораздельно, – о другом нельзя было и думать.

Марта решила, что сегодня он в первый раз ее поцелует. Предвкушая это, она не сразу села около него на диван, – по традиции включила радио, принесла серебряный ящичек с венскими папиросами, посмотрелась в зеркало, изменив при этом – как все женщины – выражение губ, стала рассказывать, что Драйер затеял вчера какое-то таинственное дело, – выгодное, будем надеяться, – подняла и положила на кресло какой-то розовый шерстяной платок, и только тогда мягко села рядом с Францем, поджав ногу и поправив складки юбки.

Он ни с того, ни с сего стал расхваливать Драйера, говорить, как он ему благодарен, как полюбил его... Марта задумчиво кивала. Он то затыкался, то держал папиросу у самого колена и водил картонным кончиком по штанине. Дымок, струей призрачного молока, полз по цепкому ворсу. Марта протянула руку и, улыбаясь, коснулась его колена, будто играя этим ползучим дымком. Он почувствовал нежный напор ее пальцев...

– ...И моя мать, в каждом письме, так кланяется ему... так благодарит...

Дымок развеялся. Марта встала и остановила радио. Франц закурил снова. Она, накинув розовый платок, из дальнего угла пристально смотрела на него. Он, с деревянным смехом, рассказал анекдот из вчерашней газеты. Затем, толкнув дверь лапой, появился очень грустный и гладкий Том, и – кажется впервые – Франц с ним поговорил. Наконец – к счастью – приехал Драйер.

Когда, около десяти вернувшись домой, Франц на цыпочках проходил по коридору, он услышал глухое хихикание за хозяйской дверью. Дверь была полуоткрыта. Он мимоходом заглянул в комнату. Старичок-хозяин, в одном нижнем белье, стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел – промеж ног – на себя в трюмо.

Новое дело Драйера, точно, отличалось некоторой таинственностью.

Началось с того, что как-то в среду, в первых числах ноября, к нему явился незнакомый господин с неопределенной фамилией и неопределенной национальностью. Он мог быть чехом, евреем, баварцем, ирландцем, – совершенно дело личной оценки.

Драйер сидел в своем конторском кабинете, огромном и тихом, с огромными окнами, с огромным письменным столом, с огромными кожаными креслами, – все это в шестом этаже огромного дома, – когда предварительно пройдя по оливковому коридору, мимо стеклянных областей, полных ураганной трескотни пишущих машинок, вошел к нему этот неопределенный господин.

На карточке, опередившей его минуты на две, было под фамилией отмечено: «изобретатель». Драйер любил изобретателей. Он месмерическим жестом уложил его в кожаную благодать кресла (с пепельницей, приделанной к ручке, – вернее, ручище), а сам, поигрывая на диво отточенным карандашом, сел к нему вполоборота, глядя на его густые брови, шевелившиеся, как черные мохнатые гусеницы, и на темно-бирюзовый оттенок свежесбранных щек; галстук был у него бантиком, – синий, в белую горошину.

Изобретатель начал издаലെка, и Драйер одобрительно улыбнулся. Ко всякому делу надобно приступить вот эдак, – с искусной осторожностью. Понизив голос, он от предисловия перешел, с похвальной незаметностью, к сути. Драйер отложил карандаш. Подробно и вкрадчиво мадьяр – или француз, или поляк – изложил свое дело.

– Это, значит, не воск? – спросил Драйер.

Изобретатель поднял палец:

– Отнюдь. Вот это один из секретов. Упругое, эластичное вещество, окрашенное в розоватый или желтоватый цвет, – по выбору. Я особенно напирал на его эластичность, на его, так сказать, подвижность.

– Занятно, – сказал Драйер. – А вот этот электрический двигатель, – я не совсем понимаю... Что вы называете, например, сократительной передачей?

Изобретатель усмехнулся:

– В том-то и штука. Разумеется, было бы гораздо проще, если бы я вам показал чертежи; но разумеется, опять-таки, я еще не склонен это сделать. Я вам объяснил, как вы можете использовать мою находку. Теперь вопрос сводится к следующему: согласны ли вы мне дать денег на фабрикацию первых образцов?

– Сколько же? – с любопытством спросил Драйер.

Изобретатель подробно ответил.

– А вы не думаете, – сказал Драйер с озорным огоньком в глазах, – что может быть ваше воображение стоит гораздо дороже. Я очень уважаю и ценю чужое воображение. Если б, скажем, ко мне пришел человек и сказал: «Мой дорогой господин директор! Я хочу помечтать. Сколько вы заплатите мне за то, что я буду мечтать?» – тогда бы я, пожалуй, вступил с ним в переговоры. Вы же мне предлагаете сразу что-то практическое, фабричное производство, воплощение, – и так далее. Экая важность, – воплощение. Верить в мечту – я обязан, но верить в воплощение мечты...

Изобретатель сперва не понял, потом понял и обиделся.

– Другими словами, вы просто отказываетесь? – спросил он мрачно.

Драйер вздохнул. Изобретатель цокнул языком, кивнул и откинулся в кресле, сцепляя и расцепляя руки.

– Это работа моей жизни, – проговорил он наконец, глядя в одну точку. – Я двенадцать лет бился над этим, – над вот этой мягкостью, гибкостью, стилизованной одухотворенностью, если могу так выразиться...

– Можете, – конечно, можете, – сказал Драйер. – Это даже очень хорошо... Скажите мне, – он опять взялся за карандаш, – вы уже обращались к кому-нибудь с такими предложениями?

– Нет, – сказал изобретатель. – Это первый раз. Я только что сюда приехал.

– Ваша мечта очаровательна, – задумчиво произнес Драйер. – Не скрою от вас – очаровательна...

Тот неожиданно вспылал:

– Бросьте, сударь, твердить о мечте. Она сбылась, она превратилась в действительность, – даром, что я бедняк и не могу сфабриковать эту действительность. Но дайте же мне возможность вам доказать... Мне говорили, что вы интересуетесь всякой новизной. Подумайте только, какая это прелесть, какое украшение, какое изумительное – позвольте даже сказать, художественное, достижение.

– Какую, однако, вы мне даете гарантию? – спросил Драйер, наслаждаясь нечаянной забавой.

– Гарантию духа человеческого, – резко сказал изобретатель.

Драйер заулыбался:

– Вот это дело. Вы возвращаетесь к моей же постановке вопроса. Это дело.

Он подумал и добавил:

– Я, пожалуй, просмакую ваше предложение, авось во сне увижу то, что вы изобрели, или, по крайней мере, мое воображение пропитается им. Сейчас не могу вам сказать ни да, ни нет. Вы ж пойдите домой, – где вы, кстати, остановились?

– Гостиница Видэо, – сказал изобретатель, сильно волнуясь.

– Знакомое название, – только не могу вспомнить почему... Видэо... Нет, не знаю. Вы ж, говорю, пойдите домой, проверьте еще раз вашу мечту, подумайте о том, не грешно ли будет, если, вдруг, такую прелесть фабрика обесцветит, замучит, убьет, – и затем, скажем, через недельку, десять дней, я вас вызову, – вы, значит, приходите, и, – простите, что намекаю на это, – немного поподробнее, подоверчивее.

Когда посетитель ушел, Драйер несколько минут просидел неподвижно, глубоко заложив руки в карманы штанов. «Он не шарлатан, – подумал он, – или, по крайней мере, не знает, что шарлатан. Пожалуй, можно будет позабавиться. Если он прав, если все так, как он говорит, – то, действительно, может получиться курьезно, очень курьезно...» Мягко загудел телефон, и на время он забыл изобретателя.

Вечером, однако, он намекнул Марте, что собирается затеять совсем новое дело, и когда она спросила, выгодно ли оно, – прищурился, закивал: «Очень, очень, душа моя, выгодно». На следующее утро, фыркая под душем, он решил, что изобретателя больше не примет; но днем, в ресторане, вспомнил его с удовольствием и решил, что дело прекрасное. Возвратясь домой, к ужину, он мимоходом сказал Марте, что дело провалилось. Она была в новом бежевом платье и почему-то куталась в розовый платок, хотя было совсем тепло в доме. Франц, как всегда, был забавно угрюм, но очень скоро ушел, – сказав, что слишком много курил и чувствует сильную головную боль. Как только он ушел, Марта отправилась спать. В гостиной, на столике подле дивана, остался открытый серебряный ящикек. Драйер взял оттуда папиросу – венскую, с картонным мундштуком, – и вдруг рассмеялся: «Сократительная передача... одухотворенная гибкость... Ведь он не врет... ужасно мне нравится его идея».

Когда он, в свою очередь, поднялся в спальню, Марта, по-видимому, уже спала. Наконец, по истечении нескольких столетий, свет потух. Она тогда открыла глаза и прислушалась. Храпит. Она лежала навзничь, глядя в темноту, и сердилась на храп, на какой-то блеск в углу спальни и, между прочим, на самое себя. «Нужно – совсем иначе, – наконец подумала она. – Завтра вечером я сделаю иначе. Завтра вечером...»

Но ни в следующий вечер, ни в субботний Франц не явился. В пятницу он пошел в кинематограф, в субботу – в кафе. В кинематографе волоокая дура с черным сердечком вместо губ и с ресницами, как спицы зонтика, изображала богатую наследницу, изображавшую, в свою очередь, бедную конторскую барышню, – а в кафе оказалось бесовски дорого, и какая-то нарумяненная девица, с отвратительной золотой пломбой, курила и смотрела на него, и качала ногой, и вскользь улыбалась, стряхивая пепел. «Я не могу больше, – протяжно, со

стоном, шептал Франц. – Она застит жизнь, во рту от нее пересохло, нет сил... Так было просто – ее схватить, когда она меня тронула. Мука... Подождать, что ли, – не видеть ее несколько дней?.. Но тогда не стоит жить... Следующий раз, вот клянусь, клянусь... матушкой клянусь...»

В воскресенье он встал поздно, вяло вынес ведро с мыльной водой и, проходя мимо хозяйской двери, взглянул на нее со страхом и ненавистью. Он решил было выйти пройтись, но хлестал по стеклам бурный дождь. В комнате было холодно. От нечего делать он хорошенько протер очки, откупорил пузырек с чернилами, зарядил самопишущую ручку и стал писать матери.

«Дорогая матушка, – писал он своим неряшливым крупным почерком, – как ты поживаешь? Как поживает Эмми? Вероятно...» Он остановился, вычеркнул последнее слово и задумался, копая концом ручки в носу. Вероятно... сейчас отправляется в церковь; потом будет стряпать воскресный обед... Курица, бедные рыцари... Днем – кофе со взбитыми сливками... Что ей до него? Она всегда любила Эмми больше. Кругленькая, краснобурая – била его по щекам, когда ему уже было семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет. В прошлом году... А когда он был совсем малыш (бледненький, круглолицый, уже в очках), однажды, на Пасхе, она хотела заставить его съесть шоколадную конфету (в виде коричневого зайчика), – которую сестренка тишком облизала. За то, что Эмми облизала конфету, предназначенную ему, мать просто хлопнула ее легонько по задку, а его, за то, что он замусленный шоколад отказался даже тронуть, – такхватила наотмашь по лицу, что он слетел со стула и, стукнувшись головой о пол, лишился чувств. Любовь к матери была его первой несчастной любовью. Лучше было, пожалуй, когда она открыто сердилась на него, чем когда равнодушно ему улыбалась или, при гостях, ласково его щипала. Накануне его отъезда она забыла у него в комнате свой шерстяной платок, и он почему-то подложил его на ночь под голову, но не мог спать, а, как дурак, плакал. Может быть она все-таки сейчас скучает по нем? Этого она не пишет...

Приятно все-таки себя пожалеть, – до слез приятно. А Эмми – хорошая девушка... Выйдет за мясника в белом жилете; выйдет, – как пить дать... И правильно поступит, – дело у него солидное, лучший мясник в городе. Проклятый дождь... А что настрочить – все-таки неизвестно... Описать, что ли, комнату.

«У меня, как я уже тебе писал, отличная комната, с зеркалом. Кровать мягкая. Хозяин по утрам сам подметает. У окна, в левом углу...»

В это мгновение раздался легкий стук, и дверь приоткрылась. Хозяин просунул голову, улыбнулся, подмигнул и, скрывшись, сказал кому-то за дверь: «Да, он дома; пожалуйте...»

Она была в своем нежном кротовом пальто, широко раскрытом на клетчатом шерстяном платье, по серой низко надвинутой шляпе успели рассыпаться темные звезды дождя, перехватившего ее между таксомотором и подъездом, шелковые ноги были тесно сдвинуты и от этого казались еще стройнее. Стоя неподвижно, она протянула назад

руку, закрывая за собой дверь, – и пристально, без улыбки, смотрела на Франца, точно не ожидала увидеть его. Он покрыл ладонью кадык, – так как был без воротничка, – и, сказав длинную фразу, с удивлением заметил, что, по-видимому, слов не отпечаталось, как будто простучал на пишущей машинке, в которую забыл вставить ленту.

– Простите, что так вхожу... – сказала Марта, – но мне некуда деться от дождя... – И взгляд ее будто разжался, выпустил его, скользнул в сторону. Франц сразу ослаб, размяк и, задыхаясь от знакомого сердцебиения, бледный, мигающий, с отвисшей нижней губой, стал помогать ей снимать пальто. Подкладка была малиновая, шелковая, теплая, пропитанная духами. Ее пальто и шляпу он положил на постель, и последний наблюдатель в его сознании, стойкий, маленький, еще оставшийся на посту, после того, как, толкаясь и спотыкаясь, разбежались все прочие мысли, – подсказал, что вот так пассажир в поезде отмечает место, которое сейчас займёт.

Марта сказала:

– Что же это такое? я думала, что вы будете рады, – а вы молчите...

– Я говорю, – ответил Франц, стараясь перекричать нестройное гудение, – говорю... я все время говорю...

– У вас осталось мыло в ухе, – сказала Марта, – постойте, я вытру.

Они оба стояли посреди комнаты, Франц бедром опирался о край стола, который вдруг стал тихо потрескивать. Оказалось, что он держит ее руку, прижимает к губам, к носу, весь уходя головой в эту горячую, послушную ладонь. Свободной рукой она гладила его по волосам, морщась от наслаждения, накручивая на пальцы их мягкие, высушенные вежеталем пряди. Франц жмурился, дышал. Какая-то одичалая нежность сменила в нем все острое, неловкое, грубое, что недавно так мучило его. Она, вероятно, сняла ему очки, так как теперь он чувствовал эти небывалые пальцы на своих веках, на бровях. Теперь он знал, что через минуту будет такое счастье, перед которым ничто самый страстный сон. Медля, он взял ее за кисти, раскрыл глаза, из теплого тумана стало приближаться ее лицо. Но не дойдя до его губ, оно остановилось.

– Пожалуйста, – пробормотал он, – пожалуйста... Я умоляю...

– Глупый! – сказала она тихо, – нужно ведь запереть дверь... Постой...

Райская теплота на миг скользнула прочь, дважды осторожно хрустнул ключ в замке; теплота вернулась.

– Ну вот, – туманно улыбаясь, сказала Марта.

Он почувствовал у себя на затылке ее напряженную ладонь, тихо ткнулся губами в жаркий уголок ее полуоткрытого рта, скользнул, нашел, и весь мир сразу стал темно-розовым. И затем, когда, следуя смутному закону постепенности, бессознательно выведенному им из того, что он слышал или читал, Франц выдыхал в ее волосы, в теплую

шею, повторяющиеся слова, смысл которых был только в их повторении, – и когда, уже сидя с ней рядом на краю постели, не отрываясь губами от ее виска, стаскивал с ее ноги башмак, теребил сырой каблук, – он ощущал вовсе не то беспомощное, торопливое волнение, которое ему не раз снилось, а какую-то благодатную силу, торжество, упоительную безопасность.

Но попутно были маленькие приключения: каким-то образом его очки оказались у Марты на коленях, и он по привычке их нацепил; небольшое столкновение произошло между ним и ее платьем, – пока не выяснилось, что оно снимается просто через голову; его правый носок был с дыркой, и выглядывал ноготь большого пальца; и подушка могла быть чище...

Постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне. «Ты...» – тихо сказала Марта, лежа навзничь и глядя, как бежит потолок.

Теперь в комнате было пусто. Вещи лежали и стояли в тех небрежных положениях, которые они принимают в отсутствие людей. Черная самопишущая ручка дремала на недоконченном письме. Круглая дамская шляпа, как ни в чем не бывало, выглядывала из-под стула. Какая-то пробочка, вымазанная с одного конца синевой чернил, подумала-подумала да и покатилась, тихонько, полукругом по столу, а оттуда упала на пол. Ветер с помощью дождя попытался открыть раму окна, но это не удалось. В шкапу, улучив мгновение, тайком плюхнулся с вешалки халат, – что делал уже не раз, когда никто не мог услышать.

Но вдруг зеркало предостерегающе блеснуло, отразив прелестную голую руку, которая в изнеможении вытянулась и упала, как мертвая. Постель медленно приехала обратно. Марта лежала с закрытыми глазами, и улыбка образовала две серповидных ямки по бокам ее сжатого рта. Пряди, некогда непроницаемые, были теперь откинута с висков, и Франц, облокотясь рядом с ней, глядя на ее нежное голое ухо, на чистый лоб, опять нашел в этом лице то сходство с мадонной, которое он, падкий на такого рода сравнения, уже отмечал.

В комнате было холодно.

– Франц... – сказала Марта, не открывая глаз. – Франц... ведь это был рай... Я еще никогда, никогда...

Она ушла через час. Перед уходом хорошенько изучила все углы комнаты, привела в порядок все вещи Франца, поставила иначе стол и кресло, заметила, что все его носки – рваные, на всех подштанниках не хватает пуговиц, – и сказала, что вообще нужно украсить комнату, – скатердки вышитые, что ли, да непременно – кушетку, да две-три ярких подушки. О кушетке она напонила старичку-хозяину, который тихо прогуливался взад и вперед по коридору. Улыбаясь то ей, то Францу, потирая сухо шелестящие ладони, он сказал, что как только супруга приедет, будет и кушетка. И так как, по чести говоря, никакой кушетки чинить он не давал (в пустом углу прежде стояло чужое пианино), и так как, кроме того, старичок был холост, – он с большим удовольствием отвечал Марте. Да и вообще он был доволен

жизнью, этот серый старичок в домашних сапожках на пряжках, – особенно с тех пор, как открыл в себе удивительный дар – превращаться вечером, по выбору, либо в толстую лошадь, либо в девочку лет шести, в матроске. Ибо на самом деле – но это, конечно, тайна, – был он знаменитый иллюзионист и фокусник, Менетекелфарес.

Марте понравилась его учтивость, но Франц предупредил ее, что чудаковат.

– Ах, мой милый, – сказала она, спускаясь по лестнице, – это все очень, очень хорошо. Этот тихий старик лучше, чем какая-нибудь любопытная, болтливая карга. До завтра, мой милый... А когда жена его придет, мы просто найдем себе другую комнату. Можешь поцеловать меня, – только быстро...

Улица, где жил Франц, была тихая, бедная, кончавшаяся тупиком, а другим концом выходила на небольшую площадь, где по вторникам и пятницам расставлял свои лотки скромный рынок. Оттуда растекались две улицы, – налево – кривой переулок, где в дни политических торжеств торчали из окон грязно-красные флаги; направо же – длинная, людная улица, на которой, между прочим, был магазин, где всякая вещь стоила пять грошей, будь то пара подвязок или бюст Шиллера. Эта улица упиралась в каменный портик, с белой буквой на синем стекле, – конечная станция подземной дороги. Там нужно было свернуть налево, по бульвару, дальше дома обрывались, кое-где строилась вилла или ширился зеленый пустырь, разделенный на огородики. Затем опять дома, – огромные, розовые, только что созданные. Марта завернула за угол последнего из них и оказалась на своей улице. Особнячок был в другом конце, – недалеко от широкого проспекта, где водились два вида трамвая, 113-ый и 108-ой, и один вид автобуса.

Она быстро прошла по гравистой тропе, ведущей к крыльцу, – и в это мгновение солнце, прокатившись по мягкому исподу замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось. Деревца вдоль тропы сразу вспыхнули мокрыми огоньками, и паутина кое-где раскинула радужные спицы. Газон заискрился. Стеклянным крылом блеснул пролетевший воробей.

Когда она вошла в прихожую, перед ее глазами в сравнительной темноте поплыли румяные пятна. Дом был пуст; в столовой – еще не накрыто; в спальне, на ковре, на синей кушетке, – аккуратно сложено солнце. Она стала переодеваться, счастливо и нежно улыбаясь зеркалу.

И немного погодя, когда она уже стояла посреди спальни, в легком темно-красном платье, чуть-чуть подкрашенная, с гладкими висками, донесся к ней снизу лирический лай Тома, и затем – громкий голос, показавшийся ей незнакомым. Сходя по лестнице, она встретила на повороте чужого господина, который быстро поднимался, посвистывая и ударяя стеклом по балюстраде. «Здравствуй, моя душа, – сказал он, не останавливаясь, – я через десять минут буду готов». – И последние две-три ступеньки перейдя одним шагом, он весело крякнул, причем искоса посмотрел вниз на ее уплывавший пробор. «Поторопись, – сказала она, не оглядываясь, – и, пожалуйста, чтобы от тебя не пахло манежем». Наверху, с легким смехом, закрылась дверь.

И потом, за обедом, окруженная сочным разговором и тем особым, не то стеклянным, не то металлическим, звоном, присущим человеческому питанию, Марта продолжала не узнавать хозяина дома – его подвижные подстриженные усы и манеру его быстро кидать себе в рот то редиску, то кусочек булочки, которую он мял на скатерти, пока говорил.

Справа от нее сидел грубоватый титулованный старик, слева толстый Вилли Грюн, с румянцем во всю щеку, с тремя правильными складками жира сзади, над воротничком; рядом с ним шумела его мать, тоже тучная, тоже лупоглазая, говорившая скрипучим голосом, который переходил в тряский клокочущий смех; а подле старика блистала огнем длинных, длинных серег молодая госпожа Грюн, напудренная до смертельной белизны, с неестественно-узкими и дугообразными бровями; и между ними, там, там, напротив Марты, скрываемый то мясистой георгиной, то хрусталем, сидел, говорил, смеялся совершенно лишней, совершенно чужой господин. Все, кроме этого господина, было хорошо, приятно, – и гусь, удавшийся на славу, и тяжелый добродушный профиль лысого Вилли, и разговор об автомобилях и сальный анекдотец об охотничьем павильоне, сообщенный ей вполголоса титулованным стариком. Ей казалось, что она сама много говорит, а на самом деле, она все больше молчала, но молчала так звучно, так отзывчиво, с такой живой улыбкой на полуоткрытых блестящих губах, с таким светом в глазах, подведенных нежной темнотой, что действительно казалась необыкновенно разговорчивой. И Драйер, поглядывая на нее из-за толстых розовых углов георгин, наслаждался ею, слушая счастливую речь ее глаз, лепет ее поблескивавших рук, – и сознание, что она все-таки счастлива с ним, как-то заставляло его забыть редкость и равнодушие ее ночных соизволений.

– Я считаю про себя, считаю... считаю... – призналась она Францу в одну из ближайших встреч, когда он вдруг стал добиваться у нее, любила ли она когда-нибудь мужа.

– Я, значит, первый? – спросил он жадно. – Первый?

Она, вместо ответа, скаля влажные зубы, медленно ущипнула его за щеку. Франц обхватил ее ноги и смотрел на нее снизу вверх и слегка поводил головой, стараясь захватить в рот ее пальцы. Уже одетая, готовая к уходу и все не решавшаяся уйти, она сидела в плетеном кресле, а он ежился на коленях перед ней, растрепанный, в мигающих очках, в новых белых подтяжках. Только что он переобул ей ноги, – она носила, пока была у него, ночные туфельки с пунцовыми помпончиками, и эти туфельки (его скромный, но продуманный подарок) оставались у него в верхнем отделении ночного столика и вынимались оттуда, как только она возвращалась. Да и вообще вся комната несомненно похорошела. На столе в синей вазе с одним продолговатым бликом розовели три георгины. Появилась кружевная скатердка, – а скоро должна была въехать кушетка, и для нее Марта уже приобрела две павлиньего цвета подушки. В целлулоидовой коробочке на умывальнике лежало любимое мыло Марты, – бледно-коричневое, пахнущее фиалкой. Белье в ящиках было пересмотрено, пересчитано, на новых подштанниках красовались четкие метки, два новых галстука, темный и светлый, висели на веревочке с внутренней стороны шкафной дверцы. И был один медленно назревающий, упоительнейший проект: – смокинг!

Франц возмужал от любви. Эта любовь была чем-то вроде диплома, которым можно гордиться. Весь день его разбирало желание кому-нибудь показать диплом. В четверть восьмого (Пифке, думая угодить хозяину, отпускал его чуть раньше других), он, запыхавшись, влетал к себе в комнату. Через несколько минут являлась Марта. В четверть девятого она уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде.

Теплое текучее счастье заполняло его всего, словно не кровью были налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти, в виске, стучащим в грудь, выходящим из пальца рубиновой капелькой, если уколёт случайная булавка; а с булавками ему приходилось много иметь дела в магазине, – и благо еще, что был он в таком отделе, где не приходилось с булавками во рту хариусом виться вокруг беспокойного господина в одноруком, испещренном наметками, исчерченном медом пиджаке. Но вообще руки у него стали проворнее, он не ронял легких картонных крышек, как в первые дни. И эти быстрые прилавочные упражнения как бы готовили его руки к другим, тоже быстрым, тоже легким движениям, пронзительно волнуящим Марту, ибо его руки она особенно любила, и больше всего любила их тогда, когда скорыми, как бы музыкальными прикосновениями они снимали с нее платье и пробегали по ее молочно-белой спине. Так, прилавок был немой клавиатурой, на которой Франц репетировал счастье.

Зато, как только она уходила, как только приближался час ужина, и надо было встретиться с Драйером, – все менялось. Как иногда, во сне, безобиднейший предмет внушает нам страх и уже потом страшен нам всякий раз, как приснится, – и даже наяву хранит легкий привкус жути, – так присутствие Драйера стало для Франца изощренной пыткой, неотразимой угрозой. Когда в первый раз, через полчаса после свидания он прошел, нервно позевывая и поправляя на ходу очки, короткое расстояние между калиткой и крыльцом, когда в первый раз в качестве тайного любовника хозяйки дома, подозрительно блеснул очками на Фриду и, потирая мокрые от дождя руки, переступил порог, Францу было так жутко, что он с испуга огрызнулся на Тома, встретившего его в гостиной с почти человеческой радостью, и, дожидаясь появления хозяев, стал суеверно искать в цветистых глазах подушек каких-то грозных признаков беды. Его затошнило от ужаса, когда, с неожиданным стуком, из двух разных дверей, как на резко освещенной сцене, одновременно вошли Марта и Драйер. Он вытянул по швам руки, и ему казалось, что в этой позе он быстро поднимается вверх, сквозь потолок, сквозь крышу, во тьму, – а на самом деле, вытянутый, опустошенный, он здоровался с Мартой, здоровался с Драйером – и вдруг из небытия, с неведомой высоты, плотно упал на ноги посреди комнаты, когда Драйер, как всегда, описал указательным пальцем быстрый круг и легонько ткнул его в пуп, сочно квохнув; и Франц, как всегда, преувеличенно ёкнул, животом захихикав, – и, как всегда, холодно сияла Марта. Страх не пропал, а только на время приглож: один неосторожный взгляд, одна красноречивая улыбка, – и все разъяснится, – и будет ужас, который нельзя вообразить. С тех пор, всякий раз, когда он входил в этот дом, ему казалось, что вот, нынче Марту выследили, она во всем призналась мужу, – и катастрофическим блеском встречала его люстра в гостиной.

Каждую шутку Драйера он с трепетом поскабливал, взвешивал, принюхивался к ней, – нет ли намека, коварной трещинки, подозрительного бугорка... Но ничего этого не было. Наблюдательный, остроглазый Драйер переставал смотреть зорко после того, как между ним и рассматриваемым предметом становился приглянувшийся ему образ этого предмета, основанный на первом остром наблюдении. Схватив одним взглядом новый предмет, правильно оценив его особенности, он уже больше не думал о том, что предмет сам по себе может меняться, принимать непредвиденные черты и уже больше не совпадать с тем представлением, которое он о нем составил. Так, с первого дня знакомства, Франц представлялся ему забавным провинциальным племянником, точно так же, как Марта, вот уже семь лет, была для него все той же хозяйственной, холодной женой, озарявшейся изредка баснословной улыбкой. Оба эти образа не менялись по существу, – разве только пополнялись постепенно чертами гармоническими, естественно идущими к ним. Так художник видит лишь то, что свойственно его первоначальному замыслу.

Зато Драйеру делалось как-то щекотно, когда предмет не сразу поддавался его зоркости, не сразу поворачивался так, чтобы он мог одним взглядом уловить его застенчивые переливы. Месяца два миновало с того вечера, когда черный Икар сошел на пять секунд с ума, – и Драйеру все еще не удалось установить кое-что относительно шофера. Он захаживал в гараж, незаметно шофера обнюхивал, следил за его походкой или внезапно в самый такой опасный час, – скажем, в субботу под вечер, – вызывал его к себе и, с трудом поддерживая незначительный разговор, исподлобья наблюдал, – не слишком ли он развязан, не слишком ли влажным и довольным блеском играют его подвижные глаза. И иногда он грезил, что вот, как-нибудь ему доложат, что в данную минуту шофер не может, увы, не может прийти на вызов. А не то ему казалось, что Икар берет повороты чуть быстрее, чуть жизнерадостнее, чем обыкновенно... Как раз в такой день беззаботных поворотов (что особенно было интересно, ввиду того, что накануне неожиданно выпал первый снег и сегодня скользко растаял) он заметил из окна господина, точно на шарнирах, мелкими шажками переходившего улицу, – и сразу, почему-то, вспомнил разговор с милейшим изобретателем. Приехав в контору, он тотчас велел позвонить к нему в гостиницу Видэо, и очень обрадовался, когда секретарь доложил, что изобретатель сейчас явится. Но ни Драйер, ни секретарь, ни вообще кто-либо в мире, никогда не узнал, что изобретатель с синими щеками жил, случайно, как раз в том номере, где по приезде переночевал Франц, – где из окна был виден теперь уже голый яшень, и где можно было заметить, – если очень-очень тщательно присмотреться, – что въелась мельчайшая стеклянная пыль в линолеум у рукомоиника. То, что судьба поселила изобретателя именно там, – знаменательно. Этот путь проделал Франц, – судьба вдруг спохватилась, послала – вдогонку, вдогонку, – синешеккого человека, – который об этом, конечно, ничего не знал, и никогда не узнал, – как вообще об этом никогда не узнал никто.

– Добро пожаловать, – сказал Драйер, – садитесь.

Изобретатель сел.

– И так? – спросил Драйер, играя карандашом. Изобретатель высморкался и, аккуратно запаковав изверженное, долго совал платок в карман.

– Я к вам с тем же предложением, – сказал он, наконец, и сцепил узкие волосатые руки.

– Новые какие-нибудь подробности? – намекнул Драйер, рисуя карандашом концентрические круги на промокательной бумаге.

Изобретатель кивнул и, понизив голос, стал говорить. На столе загудел телефон. Драйер, нежно улыбнувшись посетителю, энергично приложил трубку к уху.

– ...Это я. Я забыла: ты как будто говорил, что сегодня не ужинаешь дома?

– Так точно, моя душа.

– А вернешься поздно?

– Заполночь. Заседание правления. Пойди куда-нибудь, если тебе скучно.

– Не знаю. Может быть, так и сделаю.

– Превосходно, – закивал Драйер, – до свидания... Ах постой, я хотел еще...

Но она уже повесила трубку.

Изобретатель делал вид, что не слушает. Драйер заметил и, ради красного словца, тонким умильным голосом сказал: «Это моя маленькая подруга...»

Изобретатель вежливо улыбнулся и тотчас продолжал свои разъяснения. Драйер начал новую серию концентрических кругов. Секретарь принес пачку писем и безмолвно исчез. Изобретатель говорил. Драйер вдруг отбросил карандаш, мягко развалился в кресле, и очарование, уже раз испытанное, снова овладело им.

– Как вы сказали? – вкрадчиво перебил он, – благородная медлительность лунатика?

– Да, – если желательно, – сказал тот. – А с другой стороны, – естественнейшая проворность.

– Продолжайте, продолжайте, – зажмурился Драйер, – сущая ворожба...

Это был неказистый, насупленный ресторанчик на той улице, где жил Франц. Трое мужчин молча дулись в скат. Жена одного из них, бледная, как пласт остывшей телятины, сонно следила за игрой. Худенькая барышня с тиком листала в углу старый иллюстрированный журнал, в котором уже давно чей-то химический карандаш хищно заполнил пустоты крестословиц. Дама в кротовом пальто (приятно поразившем кабатчицу) и молодой человек в черепаховых очках пили вишневую наливку и глядели друг другу в глаза. Пьяный малый в картузе постукивал по толстому стеклу, за которым металлической колбасой сбились монеты, – проигрыш всех тех, кто, сунув в щель один грош, рукояткой подвигал туда-сюда жестяного жонглерчика, пока скатывалась горошинка по извилистым желобкам. Было темновато, тихо и дымно. Рыбьим блеском отливала стойка, озябшая от пивной пены. Кабатчица, с двумя зелеными шерстяными футболами вместо грудей и со множеством розовых веснушек на лице, зевая, глядела туда, где лакей, полускрытый ширмой, пожирал рыхлую гору вареного картофеля. На стене были деревянные часы, каким-то образом вделанные в оленье рога, и олеография – встреча Бисмарка с Наполеоном III. Картежники шелестели все тише.

– Мы хорошо выбрали, тут уж нас никто не встретит...

Он сжал под столом ее руку:

– Не поздно ли, моя дорогая, – может быть, пора?

– Твой дядя вернется только в полночь, даже еще позже... Время есть.

– Прости, что я завел тебя в такой кабачишко.

– Да нет же, нет же... Я говорю тебе: мы хорошо выбрали. Мы еще выпьем чего-нибудь.

– Ты здесь, – как королева. Инкогнито. Я хотел бы с тобой пить шампанское. И чтобы кругом танцевали...

Она облокотилась на стол, оттянув щеку кулаком, и в странной тишине ему показалось, что он слышит, как тикают часики на ее кисти, – золотые, величиной с кошачий глаз. Она вздохнула, одновременно улыбнулась. Молчание.

– А скажи, – ты сыт? Ты такой у меня худенький...

– Ах, что ты... И не все ли равно? Я всю жизнь был несчастен. А теперь ты со мной. Это какой-то невероятный сон...

Игроки застыли, глядя в карты. Бледная одутловатая женщина, сидевшая подле них, склонилась без сил к мужнину плечу. Барышня задумалась, и щека ее перестала дрыгать. Иллюстрированный журнал на древке поник листьями, как знамя в безветрие... Тишина... Оцепенение.

Она первая шевельнулась; и он, стряхивая с себя странную

дремотность, замигал, одернул отвороты пиджака.

– Я люблю его, а он беден, – сказала она шутя, сказала и вдруг переменялась в лице. Ей померещилось, что вот у нее тоже, как и у него, ни гроша за душой – и вот вдвоем, тут, в убогом кабачке, в соседстве сонных ремесленников, пьяниц, дешевых потаскушек, в оглушительной тишине, за липкой рюмочкой, они коротают субботнюю ночь. С ужасом она почувствовала, что вот этот нежный бедняк действительно ее муж, ее молодой муж, которого она не отдаст никому... Заштопанные чулки, два скромных платья, беззубая гребенка, комната с опухшим зеркалом, малиново-бурые от стирки и стряпни руки, этот кабак, где за марку можно царственно напиться... ей сделалось так страшно, что она ногтями впиалась в его кисть.

– Что случилось? Милая моя, я не понимаю?..

– Вставай, – сказала она, – заплати и пойдем. Мне нечем дышать в этой духоте...

И затем, вобрав холод ясной ноябрьской ночи, она мгновенно разбогатела опять, прижалась к нему, быстро переступила, чтобы идти с ним в ногу, – и в складках кротового меха он нащупал ее теплую руку.

На следующее утро, в постели, в светлой своей спальне, Марта с улыбкой вспомнила нелепую тревогу. «Все так просто, – успокаивала она себя. – Просто – у меня любовник. Это должно украшать, а не усложнять жизнь. Так оно и есть: приятное украшение. И если бы, скажем...»

Но странно: она никуда не могла направить мысль: улица Франца оканчивалась тупиком. Мысль попадала в этот тупик – неизменно. Нельзя было представить себе, что Франца нет, что кто-нибудь другой у нее на примете. И нынешний день, и все будущие были пропитаны, окрашены, озарены – Францем. Она попыталась подумать о прошлом, о тех годах, когда она Франца еще не знала, – и вдруг у нее в воображении встал тот городок, где она как-то побывала проездом, и среди тумана этого городка, едва ею замеченного, был никогда не виданный наяву, но так живо описанный Францем, дом, белый, с зеленой крышей, – и за углом кирпичная школа, и худенький мальчик в очках, и нелюбящая мать. То небольшое, что ей рассказал Франц о своем детстве, было ярче и важнее всего, что она и впрямь пережила; и она не понимала, отчего это так, спорила сама с собой, уязвленная в своей любви к простоте, прямоте, ясности.

Особенно чувствителен был разлад, когда приходилось заняться каким-нибудь хозяйственным замыслом, или дорогим приобретением, никак не касавшимся Франца. Как-то, например, всплыла мысль, что хорошо бы купить другой автомобиль, – но вдруг она сказала себе, что Франц тут ни при чем, обойден, выпущен, – и хотя ей давно грезился некий лимузин модной марки вместо надоевшего Икара, все удовольствие такого приобретения было отравлено. Другое дело – платье, которое она надевала для Франца, воскресный обед, который она составляла из его любимых блюд... И сперва все это было странно ей, – как будто она

училась жить по-новому и не сразу могла привыкнуть.

Ее удивляло, что у нее в доме (особенно полюбившемся ей с тех пор, как Франц стал в нем, что называется, «своим человеком») живет еще кто-то другой. А был он тут как тут, желтоусый, шумный, ел за одним столом с ней и спал на постели рядом, – и ее волновали его денежные дела, совсем так же, как в тот – уже далекий – год, когда полновесной деньгой сыпался, сыпался к нему – балласт, выбрасываемый с воздушных шаров инфляции. Вот этот ее интерес к делам Драйера не сочетался с новым, пронзительным смыслом ее жизни, – и она чувствовала, что не может быть вполне счастлива без такого сочетания, однако не знала, как добиться гармонии, как уничтожить разлад.

Он ей как-то показал листок, на котором приблизительно подсчитал свое состояние. «Достаточно, – спросил он с улыбкой, – как ты полагаешь?» Она подумала, что действительно таких денег хватит на много лет ленивой жизни. Но пока существует Драйер, он должен продолжать зарабатывать. Потому она пожала плечами и молча отдала ему обратно листок. Они стояли у письменного стола, где рыцарь держал свой зажженный фонарь, – и по особой тишине чувствовалось, что за окнами мягко валит снег. Так оно и было: декабрь выдался снежный, с крепкими морозами, – на радость запоминающимся газетным старожилам. Драйер сунул записную книжку обратно в карман и взволнованно посмотрел на часы. Нынче они втроем, он, жена и племянник, собрались в мюзик-холл. Он, как мальчик, боялся опоздать. Марта потянулась за газетой, лежавшей на столе, просмотрела объявления и хронику, прочла о том, что за пятьсот тысяч продается роскошная вилла, что нельзя, к сожалению, ожидать повышения температуры, и что перевернулся автомобиль, причем был убит актер Курт Винтер, ехавший к больной жене. В соседней комнате, Франц, заложив руки в карманы, угрюмо слушал жирный голос радио.

В Театре (просторном, многолюдном, с гигантской, еще не распахнувшейся сценой) они стеснились в одной из тех необыкновенно узких лож, в которых сразу так ясно чувствуешь, что это за неудобная, карикатурно-длинная, костисто-суставочно-мурашливая штука, – пара мужских ног. Особенно тяжело было долговязому Францу: мало того, что нижние его конечности мгновенно отяжелели, заныли, – Марта, невозмутимо поглядывая по сторонам, шелковым боком колена крепко, сладко прижалась к его правой неловко согнутой ноге, меж тем как Драйер, сидевший слева и немного позади, легонько оперся об его плечо и щекотал ему ухо углом программы. Францу было невыносимо страшно, что вот муж что-нибудь заметит, – но отстранить ногу он не мог, места не было, – да кроме того, Марта изредка двигала голенью, и тогда по всему телу у него пробегали какие-то шелковые искры, от которых нельзя было отказаться.

– Такой огромный театр, – проговорил он, слегка поводя плечами, чтобы незаметно освободиться от отвратительной, в золотистых волосках, руки Драйера. – Представляю, сколько они зарабатывают за вечер! Мест, пожалуй, тысячи две...

Драйер, перечитывая во второй раз программу, сказал:

– Ага, – вот это будет занятно: пятый номер, – велосипедисты–эксцентрики.

Свет медленно померк, плотнее прижалась нога Марты, заиграла музыка.

Немало забавного показали им в этот вечер: господин в цилиндре набекрень жонглировал серебристыми бутылками; четыре японца летали на чуть скрипевших трапециях, в перерывах кидая друг другу тонкий цветной платок, которым они тщательно вытирали ладони; клоун, в спадающих ежеминутно штанах, мягко ухал по сцене, – скользил со свистом и звучно хлопался ничком; белая, словно запудренная, лошадь нежно переставляла ноги в такт музыке; семья велосипедистов извлекала из свойств колеса все, что только возможно; тюлень, отливая лоснистой чернотой, гортанно и влажно крича, как захлебнувшийся купальщик, – скользко, гладко, будто смазанный салом, сигал по доске в зеленую воду бассейна, где полуголая девица целовала его в уста. Драйер изредка ахал от удовольствия и толкал Франца. А после того как тюлень, получив в награду рыбу (которую он сочно хапнул на лету), был уведен, – занавес на миг задернулся, и, когда распахнулся опять, посреди сцены, в полумраке, стояла озаренная женщина в серебряных туфлях, в чешуйчатом платье и играла на светящейся скрипке. Прожектор прилежно обдавал ее то розовым, то зеленым светом, мерцала диадема на ее лбу, она играла тягуче, сладко, – и Марта почувствовала вдруг такое волнение, такую прекрасную грусть, что полузакрывает глаза и в темноте отыскивала руку Франца, и он почувствовал то же, что и она, что-то млеющее, упоительное, созвучное их любви. Музыкальная феерия (так значилось в программе) поблескивала и ныла, звездой вспыхивала скрипка, то розовый, то зеленый свет озарял музыкантшу... Драйер вдруг не выдержал.

– Я закрыл глаза и уши, – сказал он плачущим голосом. – Скажите мне, когда эта мерзость кончится.

Марта вздрогнула; Франц, сразу не сообразив, о чем идет речь, подумал, что все погибло, – что Драйер все понял, – и такой ужас нахлынул на него, что даже выступили слезы. Одновременно сцена потухла, и театр загремел, как хлынувший на железную крышу ливень.

– Ты ровно ничего не понимаешь в искусстве, – сухо сказала Марта, обернувшись к мужу. – А только мешаешь другим слушать...

Он закатил глаза и шумно выпустил воздух; затем, преувеличенно засуетившись, быстро дергая бровями, как человек, который хочет поскорей забыться, – отыскивал в программе следующий номер.

– Вот это дело, – воскликнул он. – «Эластическая продукция братьев Релли»; после чего – «всемирно знаменитый волшебник». Посмотрим.

«...Миновало, – думал тем временем Франц. – На этот раз – миновало. Ух... Надо быть крайне осторожным... Собственно говоря, должна быть известная прелесть в том, что она вот – моя, а он сидит рядом и не знает. И все-таки страшно, – Господи, как страшно...»

Представление завершилось кинематографической картиной, как это принято во всех цирках и мюзик-холлах с тех давних пор, как появился первый обольстительный «биоскоп». На мигающем экране, странно плоском – после живой сцены, – шимпанзе в унижительном человеческом платье совершал человеческие, унижительные для зверя действия. Марта смеялась, приговаривая: «Нет, какой умный, какой умный!..»

Франц в изумлении цокал языком и серьезно утверждал, что это загримированный ребенок.

Когда они вышли на морозную улицу, озаренную фасадом театра, и подкатил верный Икар, Драйер, спохватившись, что последние дни он как-то прервал свои наблюдения над шофером, и немного рассердившись на самого себя за то, что до сих пор не пришел к определенному выводу, подумал, что сейчас как раз время кое-что подсмотреть. Он пристально глянул на шофера, который поспешно натягивал меховые рукавицы, и попробовал носом поймать пар, выходивший у него изо рта. Тот встретил его взгляд и, показывая коричневые корешки зубов, вопросительно и невинно поднял брови.

– Холодно-холодно, – быстро сказал Драйер. – Не правда ли?

– Какое там!.. – ответил шофер. – Какое там...

«Неуловим, – подумал Драйер. – А ведь почти наверное, – пока мы были в театре... Румян, глаза – счастливые... А впрочем, – черт его знает... Ну, посмотрим, как он будет править».

Но правил шофер хорошо. Франц, благоговейно сидевший на переднем стульчике, слушал гладкую быстроту, разглядывал цветы в вазочке, телефон, часы, серебряную пепельницу. Снежная ночь в расплывчатых звездах фонарей шелестела мимо широкого окна.

– Я здесь выйду, – сказал он, обернувшись. – Мне отсюда близко пешком...

– Подвезу, подвезу, – ответил Драйер, позевывая. Марта поймала взгляд Франца и быстро, едва заметно покачала головой. Он понял. Драйер, привыкший видеть его у себя в доме чуть ли не каждый вечер, не поинтересовался узнать, где «в сущности говоря» он живет, – и это нужно было так и оставить в молчаливой и благоприятной неизвестности. Он нервно кашлянул и сказал:

– Нет, право же... Мне хочется поразмять ноги.

– Воля твоя, – сквозь зевоту проговорил Драйер и постучал кулаком в переднее стекло.

– Зачем стучать? – в скобках заметила Марта. – Я не понимаю тебя... Ведь есть для этого трубка.

Франц, очутившись на безлюдной, белой улице, поставил воротник, засунул кулаки в карманы, и, сгорбясь, быстро пошел по направлению к

своему дому. По воскресеньям, на нарядной улице в западной части города, он ходил совсем иначе, – но теперь было не до того, – крепко пробирал мороз. Ту воскресную столичную походку было вначале не так легко усвоить; состояла она в том, чтобы, вытянув и скрестив руки (неприменно в хороших перчатках) на животе, – будто придерживаешь пальто, – ступать очень медленно и плавно, выкидывая ноги носками врозь. Так шествовали все молодые щеголи по той нарядной улице, – изредка оглядываясь на женщин, – не меняя при этом положения рук, а лишь слегка дернув плечом; и опять – врозь, врозь, раз-два, очень медленно. Но в такую ночь, на безлюдном морозе, человек ходит не напоказ.

Впрочем Франц скоро разогрелся, и даже стал посвистывать. К черту ее мужа. Не нужно трусить. Такое блаженство, – ведь это дается не всякому. Что она сейчас делает? Верно приехала, раздевается. Белые бедра с двумя ямками. И, разумеется, она не солгала, когда поклялась, что только очень редко, только по долгу службы – когда иначе было бы подозрительно. Нет, это неприятная мысль... желтошерстая гадина. Лезет небось. К черту! Теперь она села на постель. Еще три-четыре дома, и вот она сбросила туфли. Когда дойду вон до того фонаря, она опустит голову на подушку. Теперь перейду улицу. Так. Она потушила свет. У них общая спальня. Опять – эта мерзость... нет, этого сегодня не может, не должно быть. Вот еще один квартал, – так, – и она уснула. Площадь. Она спит. Завтра пятница, – тут будет базар. Вот, наконец, и моя улица. Чудесная скрипка, – и так сказочно... прямо райское что-то... И волшебник хорош был. Вероятно, это все очень простые фокусы, легко в общем раскусить, в чем дело... Теперь она спит крепко. Опять что-то случилось с этим ключом, – черт его поberi. Вертишь, вертишь... Свет на лестнице опять не действует. Так можно загрохотать, коли оступишься... И вот этот ключ – тоже мудрит...

В тускло освещенном коридоре, у полуоткрытой двери своей комнаты, стоял старичок-хозяин и неодобрительно качал головой. Был он в сером халатике, в клетчатых домашних сапожках.

– Ай-я-яй! – проговорил он, когда Франц с ним поравнялся. – Ай-я-яй... Опять после одиннадцати ложитесь. Нехорошо, сударь.

Франц сухо пожелал ему доброй ночи и хотел пройти, но тот вцепился ему в рукав.

– Я, впрочем, не могу сердиться сегодня, – сказал он проникновенно.  
– У меня радость: супруга приехала.

– Поздравляю, – сказал Франц.

– Но всякая радость, – продолжал старичок, не отпуская его рукава, – всякая радость несовершенна. Моя старушка приехала больной.

Франц соболезнующе хрюкнул.

– И вот, – крикнул ясным голосом старичок. – Она сидит в кресле... Поглядите.

Он пошире приоткрыл дверь, и, точно, Франц увидел над спинкой кресла старушечий седой затылок с какой-то наколочкой на макушке.

– Вот, – повторил старичок, глядя на Франца блестящими, немигающими глазами.

Франц, не зная, что сказать, глупо улыбнулся.

– А теперь – спокойной ночи, – отчетливо проговорил старичок, и шмыгнув к себе в комнату, закрыл дверь.

Франц было пошел, но вдруг остановился.

– Послушайте, – сказал он через дверь, – а как насчет кушетки?

Молчание.

Он постучал.

И вдруг послышался чей-то хриплый, напряженный, фальшивый голосок.

– Кушетка уже поставлена, – скрипнул голосок. – Я вам дала мою собственную кушетку.

– Чудаки! – брезгливо усмехнулся Франц и пошел к себе. В его комнате действительно было прибавление мебельного семейства. Прибавление твердое, ветхое, сизое, в мелких красноватых цветочках. Марта, когда пришла на следующий день, сморщила нос и так оставшись – со сморщенным носом, – кушетку потрогала, нащупала большую пружину, приподняла вялую бахрому. «Ну что ж, ничего не поделаешь, – сказала она наконец. – Я с его старухой ссориться не намерена. Дай-ка сюда эти две подушки. Да, так как будто лучше выглядит...» – И вскоре они привыкли к ней, к ее сизой ветхости, к причудам ее пружин и к ее манере неодобрительно крякать, когда на нее садились.

Но не одной кушеткой обогатилась комната Франца. Однажды, в особенно благодущную минуту, Драйер дал ему свыше положенных денег еще некоторую сумму, и спустя недели две (кстати сказать, близилось Рождество) в платяном шкапу появился новый жилец: долгожданный смокинг.

– Вот и отлично, – сказала Марта, пощипывая материю. – Теперь остается одно: нужно тебе научиться танцевать. Придешь завтра, – мы после ужина под граммофон и попляшем.

Франц сдуру явился в новом смокинге. Она пожурила его за то, что эдак, зря, смокинг треплет; однако, нашла, что он ему к лицу. Было около девяти. Ужинали обыкновенно в девять. Драйер должен был приехать с минуты на минуту. Он в этом смысле был очень аккуратен, всегда предупреждал по телефону, что на столько-то вернется раньше или позже, ибо чрезвычайно любил слышать в телефон тихий ровный голос жены, голос в нежной перспективе. Марта всегда удивлялась его точности, – и несмотря на то, что сама относилась ко времени бережно

и внимательно, точность мужа в данном случае ее раздражала. Нынче он не звонил, а меж тем прошло двадцать минут, полчаса, – и он не являлся. Франц, боясь измять штаны, избегал садиться, шагал по гостиной, изредка подходя к креслу Марты, но не решаясь поцеловать ее, как хотелось бы, – в шею, под шиньон.

– Я голодна, – сказала Марта, – не понимаю, почему он не едет...

– Давайте заведем граммофон, – предложил Франц. – Вы поучите меня пока что.

– Нет настроения. После ужина другое дело. Я вам говорю, что я голодна. И хочется выпить чего-нибудь горячего.

Прошло еще десять минут. Она быстро поднялась и позвонила.

Огромный нежный омлет, подернутый рыжим крапом, сразу ее оживил.

– Закройте, – сказала она Францу с улыбкой, кивнув по направлению к двери, которую Фрида, с утра шалевшая от зубной боли, забыла за собой прикрыть. Когда Франц вернулся на свое место, она улыбнулась еще значительнее. Это было, как-то, первый раз, что она у себя в доме ужинает наедине с Францем. Да, смокинг ему идет. Подарить бы ему хорошенькие запонки...

– Милый мой, – сказала она тихо и по скатерти протянула к нему руку.

– Осторожно, – шепнул Франц, озираясь. Он не доверял стенам. Пристально уставился на него старик в сюртуке на темном портрете. Буфет, поблескивая, смотрел во все глаза. Что-то было напряженное в складках портьеры. Хорошо еще, что Том остался в передней. Но сейчас может войти горничная. В этом доме надо говорить друг другу «вы» и не позволять себе никаких вольностей. Все же, не в силах противиться ее улыбающемуся желанию, он провел ладонью по ее голой руке. Она медленно оттянула руку, сияя и облизываясь. Ему показалось, что вот теперь из-за портьеры вдруг выступит Драйер.

– Ешьте, пейте, будьте, как дома, – сказала, смеясь, Марта.

Она была сегодня в черном платье с тюлем, волосы ее, разделенные тончайшей бледной чертой пробора, отливали эбеновым лоском. Низкая лампа в оранжевом абажуре окатывала стол резким нарядным светом. Франц, блестя на Марту обожающими очками, посасывал ножку холодного цыпленка. Она вдруг потянулась к нему, взяла из его руки полуобглоданную косточку и, смеясь одними глазами, стала ее вкусно грызть, отставив пятый палец. Губы ее стали сочнее, ярче. Франц, подавшись вперед, шепотом проговорил: «Ты восхитительна. Я обожаю тебя», – потом откинулся, взглянув на портьеру.

– Так бы ужинать каждый вечер, ты да я, – вздохнула Марта. Она на мгновение нахмурилась, тряхнула головой и удалым, чуть-чуть фальшивым тоном воскликнула, пододвинув рюмку:

– Налейте-ка мне коньяку, мой дорогой Франц.

– А я не буду пить, боюсь, – не научусь потом танцевать, – сказал Франц, осторожно наклоняя графинчик.

Но что ей было сейчас до танцев... ей хотелось сидеть в этом овальном озере света долго–долго, проникаясь чувством, что так будет опять завтра, послезавтра, до конца жизни... Моя столовая, мой сервиз, мой Франц.

Вдруг она схватилась за свою левую кисть, повернула часики, норовившие всегда находиться там, где троилась голубая вена, удивленно повела бровью.

– На целый час опоздал, – нет, больше... Ничего не понимаю. Нажмите звонок, пожалуйста, – вот над вами висит.

Ему стало неприятно, что ее как будто тревожит отсутствие мужа. Опоздал так опоздал. Тем лучше. Она, собственно говоря, не имеет права.

– Почему надо звонить? – сказал он, засунув руки в карманы.

Она широко раскрыла глаза. – Я, кажется, просила вас нажать вот эту кнопку...

В длинном луче ее взгляда он непонятным образом размяк; виновато улыбнулся и позвонил.

– Если вы сыты, мы можем встать, – сказала Марта. – Впрочем, поешьте винограда. Вот эту кисть.

Он стал есть виноград, тщательно выплевывая косточки. Призрачным маятником ходила по скатерти тень чуть качавшегося звонка. Вошла бледная осоловелая Фрида.

– Скажите–ка, – обернулась к ней Марта, – мой муж не звонил в мое отсутствие?

Фрида замерла, потом схватилась за виски.

– Ах, Боже мой, – проговорила она тихо. – Ах, Боже мой... Господин директор звонил около восьми... что сейчас выезжает... чтобы подавали раньше... Простите меня...

– Вы, вероятно, с ума сошли, – холодно сказала Марта.

– Простите меня, – повторила горничная.

– Совершенно с ума сошли, – сказала Марта.

Горничная промолчала и, подозрительно быстро моргая, стала собирать грязные тарелки.

– Не надо, – огрызнулась Марта, – потом.

Горничная поспешно ушла.

– Поразительная женщина, – пробормотала Марта, сердито облокотясь на стол и кулаками подперев щеку. – Ведь она же видела, как мы сидели за стол, сама же принесла омлет. – Эгэ, – этого-то я и не сообразила, что ведь она сама видела... Позвони-ка еще раз.

Франц послушно поднял руку.

– Впрочем, не надо, оставь, – сказала Марта. – Я уж поговорю с нею после.

Ее охватило какое-то необыкновенное волнение. Оскалившись, она прижимала к зубам стиснутые пальцы, отчего скулы у нее поднялись, а глаза сузились. Погодя, она встала.

– Теперь без четверти одиннадцать, – сказала она, усмехнувшись. – Долго же он едет.

– Что-нибудь задержало, – хмуро отозвался Франц. Он был озадачен и обижен ее волнением.

Она потушила свет в столовой. Перешли в гостиную. Марта сняла телефонную трубку, прислушалась, хлопнула трубку обратно.

– Телефон за это время не испортился, – сказала она. – Я ровно ничего не понимаю. Позвонить, что ли, кому-нибудь...

Франц, заложив руки за спину, ходил взад и вперед по комнате, чувствуя, что вот-вот расплачется. Марта быстро провела пальцем по табличке, около аппарата, отыскивала домашний номер мужниного секретаря.

– Это странно, – ответил тот, – я сам видел, как он поехал домой. Да, в вашем Икаре. Это было, – позвольте, – да, около восьми...

– Так, – сказала Марта, и телефонная вилка звякнула.

Она подошла к окну, отдернула лазурную портьеру. Ночь была ясная. Вчера началась было оттепель; да снова хватил мороз. Она видела утром, как на голом льду поскользнулась пожилая дама. Очень смешно, когда шлепается пожилая дама... Марта, не раскрывая рта, судорожно засмеялась. Франц, судя по звуку, подумал, что она всхлинула и растерянно подошел. Она обернулась к нему и вдруг вцепилась ему в плечо, заскользила щекой по его лицу.

– Осторожно – очки, – прошептал Франц.

– Заведи граммофон, – сказала она, отпустив его, – будем танцевать. И не смей пугаться – я буду тебе говорить «ты» всякий раз, как мне вздумается, слышишь?

Франц начал почтительно вертеть ручку большого лакового ящика. Когда

он поднял голову, Марта сидела на диване, хмуро и странно глядя на него.

– Я думал, вы приготовите пластинку, – сказал Франц, – я ведь не знаю, какую...

– Мне расхотелось, – проговорила Марта и отвернулась.

Франц вздохнул. Он никогда не видал ее в таком странном настроении. Вместо того, чтобы радоваться, что муж задержался...

Он сел рядом с ней на диван. Прислушиваясь, поцеловал ее в волосы, потом в губы. Она стучала зубами.

– Дай мне платок, – сказала она. Он принес розовый вязаный платок, который всегда валялся в углу, на кресле. Она взглянула на часы. Половина двенадцатого.

Франц вдруг встал:

– Я пойду домой, – сказал он мрачно.

– Ты останешься, – тихо сказала Марта.

Он посмотрел на нее в упор и смутно подумал, что ведь тут что-то неспроста, какая-то не совсем обыкновенная тревога...

– Знаешь, о чем я сейчас вспоминаю? – вдруг заговорила Марта. – Я вспоминаю о полицейском, который писал протокол. Дай мне твою записную книжку. И карандаш. Вот; он держал так перед собой книжку и писал.

– Какой полицейский? О чем ты говоришь?

– Да, правда, тебя там не было. Я как-то теперь привыкла задним числом вмешивать тебя во все, что было. Впрочем, я тебя уже знала тогда.

– Перестань, – сказал Франц. – Мне страшно.

– Это ничего, что страшно. Это ничего, что... Прости. Я говорю глупости. Я просто очень взволнована.

Она держала записную книжку на коленях. Франц видел, что она сперва рисовала на страничке какие-то черточки, потом вдруг написала отчетливо «Драйер» и опять вычеркнула. Посмотрела на него искоса – и снова написала «Драйер», крупными буквами. Прищурилась и стала тщательно, крепко вымарывать. Кончик карандаша хрустнул и сломался. Она кинула ему книжку и встала.

Франц молчал. Тикали часы. Марта стояла перед ним и смотрела, смотрела, словно внушала ему что-то. И вдруг в нестерпимой тишине хлопнула входная дверь, и грянул ликующий голос Тома.

– Пришел, – глухо сказала Марта, и на мгновение ее лицо странно исказилось.

Драйер вошел не совсем так бодро, как всегда, – и не совсем так бодро поздоровался с Францем. Франц сразу ошалел от ужаса.

– Почему так поздно? – спросила Марта, – почему ты не звонил?

– Так уж случилось, моя душа, так уж случилось.

Он хотел улыбнуться, но ничего не вышло.

– Ну-с, мне пора, – поспешно и хрипло закричал Франц.

Он потом не помнил, как попрощался, как надел пальто, как оказался на улице.

– Это не совсем так, – сказала Марта, – я чувствую, что это не совсем так. Скажи мне, в чем дело?

– Скучное дело, моя душа. Человек убит.

– Опять шутки, шутки... – застонала Марта.

– К сожалению, нет, – тихо сказал Драйер. – Мы, видишь ли, на всем ходу бухнулись в трамвай. Номер семьдесят третий. Я только потерял шляпу, да здорово стукнулся обо что-то. В таких случаях хуже всего приходится шоферу. Отвезли в больницу, был еще жив, там умер. Лучше не проси подробностей.

Они сидели друг против друга, у накрытого стола. Драйер, потупясь, ел холодного цыпленка. Марта, с бледным лоснящимся лицом, с мельчайшими капельками пота над губой, где чернели тонкие волоски, глядела, прижав пальцы к вискам, на белую, белую, нестерпимо белую скатерть.

## VII

Не dokonчив увлекательной, но несколько сбивчивой беседы с синешеким мадьяром (или евреем, или баском) о том, можно ли хирургическим путем (то есть выливая из него ведра крови!) так обработать хвост тюленя, чтобы тюлень мог ходить стоймя, Драйер резко проснулся и с отчаянной поспешностью, словно имел дело с адской машиной, остановил разошедшийся будильник. Постель Марты, охочей до холода раннего часа, была уже пуста. Он привстал и почувствовал боль в плече: электрический звонок из вчерашнего дня в нынешний. По коридору, в голос плача, прошумела сердобольная Фрида. Он осмотрел, вздыхая, большущее фиолетовое пятно на толстой плечевине.

Умываясь, он из ванны слышал, как в соседней комнате Марта дышит и похрустывает, делая модную гимнастику. Потом закурил сигару, улыбнулся от боли, надевая пальто, и вышел.

Заметив, что у ограды стоит садовник (он же сторож), Драйер подумал, что хорошо бы хоть теперь, путем прямого вопроса, разрешить тайну, занимавшую его так давно.

– Вот беда, так беда, – степенно сказал садовник, когда Драйер подошел. – А ведь в деревне – отец и четыре сестрички. Шарахнуло, стало быть, на гололедице, – вот и капут.

– Да, – кивнул Драйер, – ему проломило голову, грудную клетку, – все.

– Хороший, веселый парень, – сказал садовник с чувством. – И помер. У него от гаража ключ, должно быть, остался. Заперто.

– Послушайте, – начал Драйер, – вы случайно не заметили... – дело в том, что я сильно подозреваю...

Он запнулся. Пустяк, время глагола остановило его. Вместо того, чтобы спросить «он пьет?», надобно было спросить «он пил?». Благодаря этой перестановке времени получалась какая-то логическая неловкость. Труп не может быть пьяницей; а что было раньше – много ли, мало ли пролилось того-сего в несуществующую теперь глотку, – нет, это перестало быть забавным...

– ...я насчет садовой дорожки. Сильно подозреваю, что можно тут поскользнуться. Вы бы ее песком посыпали...

«Финис... – усмехнулся он про себя, сидя в таксомоторе. – Икар продам без ремонта. Ну его... Марта не хочет новой машины. Права, пожалуй. Надо переждать».

Но Марта отказалась от автомобиля совсем по другой причине. Как-то странно, подозрительно выходит, если не пользуешься собственной машиной, отправляясь (три-четыре раза в неделю, ровно к семи часам вечера) на урок ритмических поклонений и всплескиваний («Флора, прими эти розы...» или: «О, Солнце...»). А не могла она пользоваться ею потому, что от шофера до анонимного письмеца один только шаг. Нужно, значит, обратиться к другим, – и самым разнообразным, – способам передвижения, вплоть до подземной железной дороги, привозившей очень удобно из любой части города (а окружной путь был необходим, – хотя пешком можно было дойти в четверть часа) на ту улицу, которая выходила на площадь, где по вторникам и пятницам продавалась рыба, шерстяные носки, всякая всячина. Драйер, кстати сказать, никогда в подземных вагонах не ездил, утверждая, что там всегда пахнет сыром. Вообще, – если соблюсти вот эти небольшие, но скучнейшие предосторожности, он вряд ли мог догадаться, что она не четыре раза в неделю, а только раз, – да и то не всегда, – склоняется, рассыпая невидимые цветы, босоногая, в тунике, среди семи-восьми таких же плавных, полуголых, богатых дам.

В тот день, когда в газете, в отделе происшествий мелькнули коммерсант Драйер (владелец магазина «Дэнди») и его почему-то безымянный – и, значит, уже навеки безымянный – шофер, в тот день Марта пришла немного раньше обыкновенного. Франц еще не возвращался со службы. Она села на сизую кушетку, приняв ее с недовольным криком, и стала ждать. Лицо у нее было нынче особенно бледное, с едва подкрашенными губами; она надела закрытое платье, бежевое, с пуговками. Когда, знакомыми шагами простучав по коридору, вошел Франц (с той резкой бесцеремонностью, с которой мы входим в собственную, заведомо пустую, комнату), она не улыбнулась. Увидев ее, Франц радостно ахнул и, не снимая шляпы, принялся кропить Марту мелкими поцелуями.

– Ты уже знаешь? – спросила она, и в глазах у нее было то странное выражение, которое он надеялся сегодня не увидеть.

– Еще бы, – сказал он, и, встав с кушетки, быстро стянул с шеи разноцветное кашне. – В магазине узнал. Меня даже расспрашивали, как и что. Я, по правде сказать, вчера немного испугался, когда он так мрачно вошел. Ужас.

– Что ужас, Франц?

Он уже был без пиджака, без галстука и шумно мыл руки.

– Да вот – куски стекла прямо в морду. Углами. А потом тяжелая артиллерия – металл, удар металла... взрывается голова. Я такие вещи так ясно себе представляю. Прямо тошнит.

Она дернула плечом:

– Все – нервы, Франц, нервы. Поди сюда.

Он подсел к ней, и, стараясь не замечать, что сегодня все как-то по-новому, что она поглощена какими-то чуждыми мыслями, тихо спросил:

– А что, – моих туфелек ты сегодня не наденешь?

Это было условное иносказание. Но Марта как будто и не расслышала.

– Франц, – сказала она, глядя его по руке и этим его руку удерживая, – я ведь вчера предчувствовала... Подумай, он чудом выскочил...

На душе у него сразу стало темновато, что-то внутри скучно заскулило; он отвернулся и хотел засвистеть, но звука не получилось, – и он так и остался с мрачно выпяченными губами.

– Что с тобой? Франц! Перестань дурачиться. Слышишь!

Она притянула его к себе за шею; он напрягся, не давался, – но вдруг ее острый, бриллиантовый взгляд полоснул его, и он весь как-то осел, как оседает с жалобным писком детский воздушный шар. Слезы обиды затуманили очки. Он прижался щекой к ее плечу.

– Я не могу так, – заговорил он тихонько подвывая. – Уже вчера вечером... Нет, я не могу так. Уже вчера я почувствовал, что ты меня как-то не по-настоящему, не всецело... Я не могу... Ты так его ждала, так волновалась! И вот теперь – продолжаешь об этом. Ах, это очень тяжело...

Марта замигала в недоумении. Потом поняла.

– Вот оно что, – протянула она, усмехнувшись. – Вот оно что... Прелестно!

Она взяла его голову, поглядела ему в глаза пристально и строго, и затем медленно, с полуоткрытым ртом, словно хотела мягко укусить, приблизилась к его лицу, завладела его губами.

– Эх ты... – сказала она, медленно отпустив его, – эх ты... – повторила она, кивая и усмехаясь в нос. – Я хочу, чтобы ты понял, какой ты глупый... Постой же...

Но Франц нежно взбесился. С края кушетки хлопнула на пол сумка, и никто ее не поднял. Марта стала вдруг что-то говорить вполголоса, торопливо и несвязно; так бывает со спящим: застонет и быстро-быстро забормочет, – потусторонняя скороговорка... Потом смолкает. И после молчания, она сказала мутным спросонья голосом:

– Подними, моя радость, сумку. Все, кажется, рассыпалось.

Он поднял. Ему было опять совсем легко и весело. Вполне понятно, что она вчера волновалась. Просто – дружеская тревога. Ничего тут нет особенного.

– Слушай, – сказала она, погодя. – Слушай, Франц... как было бы чудесно, если б не нужно было мне уходить сегодня. Ни сегодня, ни завтра. И вообще – никогда. Конечно, мы бы не могли жить вот в такой крохотной комнатке.

– Мы бы взяли комнату побольше, да посветлее, – уверенно сказал Франц.

– Да, – давай, помечтаем. Побольше и посветлее. Даже, пожалуй, две комнаты, а? Ты думаешь – три? И еще кухню...

– Но ты бы не стряпала. У тебя такие драгоценные ногти.

– Да, конечно; у нас была бы прислуга. Взяли бы ту же Фриду. Мы как говорим, – три комнаты?

– Нет, четыре, – подумавши, сказал Франц. – Спальня, гостиная, кабинет, столовая...

– Четыре. Так. Квартиру в четыре комнаты. С кухней. С ванной. И спальня будет вся белая, правда? А остальные комнаты будут синие. В гостиной и зале будет много, много цветов. И еще, в верхнем этаже

будет комната – на всякий случай – для гостей, что ли...

– Как, – в верхнем этаже?

– Ну да: у нас будет вилла.

– Да, конечно, – кивнул Франц.

– Давай дальше, милый. Значит, вилла. Со светлым холлом. Ковры, картины, серебро. Так? И небольшой сад. Газон. Фруктовые деревья. Магнолии. Правда, Франц?

Он вздохнул. «Все это будет только лет через десять. Я не скоро выбьюсь...»

Марта затихла, – как будто ее не было в комнате. Он, улыбаясь, повернулся к ней и застыл в свою очередь: она на него смотрела, сощурившись, прикусив губу.

– Десять лет, – сказала она горько и холодно. – Ты хочешь ждать десять лет?

– Мне так кажется, – отвечал Франц. – Я не знаю. Может быть, если очень повезет... Но ведь вот: возьми Пифке; он с самого начала, – значит, лет десять, – в магазине. И занимает хорошую должность. А я знаю, что он живет очень скромно... получает не больше трехсот пятидесяти в месяц. Жена у него тоже служит. Квартира малюсенькая...

– Слава Богу, – ты это понял, – сказала Марта. – Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты. Это бумаги неверные; да и проценты – пустяшные.

– Как же нам быть? – проговорил Франц. – Я бы, знаешь, женился на тебе хоть сейчас. Я не могу жить без тебя. Я – как пустой рукав без тебя. Но ведь даже ковер – или там приличный сервиз не могу купить. Да и вообще – пришлось бы искать другой службы – ты понимаешь, – а я ничего не знаю, ничего не умею. Значит, опять учиться. Мы бы жили в сырой комнатухе, впроголодь... Экономил бы на пище, на угле...

– Да, уж никакой бы дядюшка тебе не помогал, – сухо сказала Марта.

– Это вообще невысказано, – сказал Франц.

– Совершенно невысказано, – сказала Марта.

– Отчего ты на меня сердись? – спросил он, после минуты молчания. – Как будто я в чем-то виноват... Право же, я тут ни при чем... Ну, будем мечтать, если хочешь. Только не сердись. Давай продолжать. У меня будет восемь костюмов, – хочешь, я опишу тебе какие?

– За десять лет, – сказала она, усмехнувшись, – за десять лет, мой милый, мужские моды успеют значительно измениться...

– Ну вот, ты опять сердись...

– Да, я сержусь, – но не на тебя, на судьбу. Видишь ли, Франц, – нет, ты не поймешь...

– Я пойму, – сказал Франц.

– Ну, так видишь ли, – обыкновенно люди делают всякие планы, – очень хорошие планы, – но совершенно при этом упускают из виду одно: смерть. Как будто никто умереть не может. Ах, не смотри на меня так, как будто я говорю что-то неприличное...

У нее было сейчас точь-в-точь такое лицо, как вчера, когда бормотала о каком-то полицейском. Странное лицо.

– Мне пора, – сказала Марта, нахмурившись, – и, неторопливо встав, принялась перед зеркалом поправлять волосы.

– Уже продают на улицах елки, – сказала она, глядя в зеркало и высоко поднимая локти. – Я хочу купить елку, огромную, очень дорогую. Дай мне, пожалуйста, побольше денег с собой.

– Ты сегодня злая, – вздохнул Франц.

Он спустился вместе с ней по темной лестнице. Проводил до площади. Было очень скользко, ледок отблескивал под фонарями.

– Знаешь что? – сказала она, прощаясь с ним на углу. – Ведь я бы сегодня могла быть в трауре. Это случайность, что я не в трауре. Подумай об этом.

И произошло как раз то, чего она хотела: Франц мгновенно повеселел. Он посмотрел на нее и рассмеялся. Она рассмеялась тоже. Господин с фокстерьером, ждавший, пока собака кончит обнюхивать фонарь, одобрительно и немного завистливо на них посмотрел. «В трауре», – сказал Франц, давясь от смеха. Она, смеясь, закивала. «В трауре» – сказал Франц, бубня смехом в ладонь. Господин с фокстерьером вздохнул и двинулся. «Я обожаю тебя», – слабым голосом проговорил Франц и довольно долго, мокрыми глазами, смотрел ей вслед.

Но как только она отвернулась, как только пошла, лицо у Марты снова стало сосредоточенным и строгим. Франц уже не видел этого. Он вытер платком стекла очков и тихо побрел домой, продолжая посмеиваться. Да, действительно – случайность. Сел бы тот рядом с шофером... К примеру, скажем. Взял и сел. И готово: вдова. Богатая вдова. Через год свадьба. Впрочем, – зачем сложные комбинации с автомобилем?.. Да и не всегда кончается такая катастрофа смертью; чаще всего отделяешься ушибами, переломом, порезами... нельзя предъявлять случаю слишком сложных требований... именно так, пожалуйста, именно так, – чтобы мозги брызнули... Но мало ли, что вообще бывает: болезни, – скажем. Может быть, у него порок сердца? Или, вот, от инфлуэнцыдохнут... Зажили бы тогда на славу... Первокласное счастье. Магазин бы работал, денешки прибывали бы... А вернее всего, он жену переживет, – эдаким патриархальным дубом дотянет до двадцать первого века. Вот, в газетах было, что какой-то есть турок, которому полтора года лет...

Так он мечтал, смутно и грубовато, – и не сознавал что мысль его катится от толчка, данного ей Мартой. Извне пришла и мысль о женитьбе. О, это была хорошая мысль. Если уже счастье – видеть Марту урывками, так какое же это будет огромное блаженство иметь ее подле себя круглые сутки!.. Он употребил этот арифметический прием совершенно бесхитростно, – точно так же, как ребенок, любящий шоколад, воображает страну, где горы из шоколада: гуляешь и лижешь.

Он совершенно не заметил в те дни разъедающего, разрушительного свойства приятных мечтаний о том, как, вот, Драйера хватит кондрашка. Слепо и беззаботно он вступал в бред. Последующие свидания с Мартой были как будто такие же естественные, ласковые, как и предыдущие. Но подобно тому, как в этой простенькой квартире со старой скромной мебелью, с капустообразными цветами на обоях, с наивно-темным коридором, хозяином был старичок бесповоротно, хоть и незаметно, сошедший с ума, – в них, в этих свиданиях, таилось теперь нечто странное, – жутковатое и стыдное на первых порах, но уже увлекательное, уже всесильное. Что бы Марта ни говорила, как бы нежно ни улыбалась, Франц в каждом ее слове и взгляде чуял неотразимый намек. Они были, как наследники, сидящие в полутемной комнате, за стеной которой вот-вот должен испустить дух обреченный богатей; можно было говорить о пустяках, о близком Рождестве, о том, что теперь в магазине уйма работы, – лыжи и всякие шерстяные вещи идут превосходно – можно было обо всем говорить, – правда, чуть глуше, чем обыкновенно, – но слух напряжен, в глазах неверный блеск, затаенная мысль не дает покою: ждешь, ждешь, что вот выйдет оттуда на цыпочках и красноречиво вздохнет хмурый доктор, – и в проеме двери будет видна спина аббата, склонившегося над белой, белой постелью.

Бессмысленное ожидание. Марта знала отлично, что как будто никогда и зубы у него не болели, никогда не бывало насморка. Потому особенно было для нее раздражительно, когда, накануне праздников, она сама простудилась, сухо и мучительно кашляла, потела по ночам, днем же бродила сама не своя, одурманенная простудой, с тяжелой головой, с жужжанием в ушах. К Рождеству ей не полегчало. Все же она надела вечером открытое легчайшее платье, пламенного цвета, с глубоким вырезом на спине, – и, оглушенная аспирином, стараясь ударами воли прогнать недуг, следила за изготовлением крошона, за убранством стола, за румяной дымящей деятельностью кухарки.

В гостиной, упираясь венцом в потолок, вся опутанная легким серебром, вся в электрических, еще незажженных лампочках, стояла свежая, пышная елка, равнодушная к своему шутовскому наряду. Между гостиной и передней, в проходном холле, где было светло и пустовато, где среди плетеной мебели тепличной тишиной дышали цветущие растения, где за решеткой искусственного камина пылал мандариновый жар, Драйер, в ожидании гостей, читал английскую книжку. Он шевелил губами и частенько заглядывал в толстенький словарь. Марта прошла мимо него, и, не зная, что с собой делать в это длительное затишье перед первым звонком, села поодаль и, чуть отделив ступню от пола, стала разглядывать, так и эдак, яркую, острую туфлю. Была невозможная тишина. Драйер уронил словарь и, хрустнув щедрым

крахмалом рубашки, поднял его, не отрывая взгляда от книги. Она чувствовала в груди духоту. Ей показалось, что просто кашлем этой духоты не разрядить; только одно сразу все разрешило бы и облегчило: если б вдруг исчез вон тот большой, желтоусый человек в смокинге. Острота ее ненависти дошла внезапно до такой степени пронизательности, что на одно мгновение ей померещилось: его кресло пусто. Но дугой просверкнула запонка, он захлопнул словарь и проговорил, исподлобья ей улыбаясь: «Боже мой, как ты простужена; я отсюда слышу, как у тебя внутри все посвистывает».

– Убери книги, – сказала Марта. – Сейчас приедут гости. Это беспорядок.

– Ладно, – ответил он по-английски и тихо вышел из холла, мысленно сетуя на свое дурное произношение, на скудный запас иностранных слов.

Кресло у камина опустело, но это не помогло. Она всем существом ощущала его присутствие – там, за дверью, в той комнате, и в той, и еще в той, – дому было душно от него, хрипло тикали часы, задыхались белые конусы салфеток на нарядном столе, – но как выкашлять его, как продохнуть?.. Ей казалось теперь, что так было всегда, что с первого дня замужества она его ненавидела, так безнадежно, так нестерпимо. На ее прямом и ясном пути он стоял ныне плотным препятствием, которое как-нибудь следовало отстранить, чтобы снова жить прямо и ясно. Человека лишнего, человека, широкой, спокойной спиной мешающего нам протиснуться к вокзальной кассе или к прилавку в колбасной, мы ненавидим куда тяжелее и яростнее, чем откровенного врага, откровенно напакостившего нам.

Она вдруг резко встала, почувствовала, что вот сейчас задохнется... Что-то нужно было сделать, как-нибудь расчистить путь для дыхания жизни... И в это мгновение зазвучал звонок. Марта похлопала себя по вискам, проверяя прическу, и быстро прошла – не в переднюю, а назад, к двери гостиной, – чтобы оттуда, через холл, плавно выступить навстречу гостям.

С перерывами в несколько минут, семь раз повторялся звонок. Первыми явились неизбежные Грюны, затем Франц, затем, почти одновременно: титулованный старик; фабрикант бумаги с супругой; две громких полуголых барышни; директор страхового общества «Фатум», курносый, тощий и молчаливый; розовый инженер в трех лицах, то есть с сестрой и с сыном, до жути похожими на него. Все это постепенно разогревалось, оживлялось, слипалось, пока не образовало одно слитое веселое существо, шумящее, пьющее, кружащееся вокруг самого себя. И только Марта и Франц никак не могли втиснуться в эту живую, цветистую, дышащую гущу, – и изредка встречались глазами, – но и не глядя, и он, и она все время ясно ощущали переменные сочетания их взаимных местонахождений, пространственные их положения друг относительно дружки: он идет с бокалом вина, наискось, – она в другом конце надевает бумажный колпак на лысого Вилли; он сел и заговорил с розовой сестрой инженера, – она тем временем прошла от Вилли к столу с закусками; он закурил, – она положила апельсин на тарелку. Так шахматист, играющий вслепую, чувствует, как

передвигаются один относительно другого его конь и чужой ферзь. Был какой-то смутно-закономерный ритм в этих их сочетаниях, – и ни на один миг чувство этой гармонии не обрывалось. Существовала будто незримая геометрическая фигура, и они были две движущихся по ней точки, и отношение между этими двумя точками можно было в любой миг прочувствовать и рассчитать, – и хотя они как будто двигались свободно, однако были строго связаны незримыми, беспощадными линиями той фигуры.

Уже паркет был усыпан пестрым бумажным мусором; уже кто-то разбил рюмку и топырил липкие пальцы. Толстый Вилли Грюн, уже пьяный, в золотом колпаке, увешанный серпантинном, широко раскрыв невинные голубые глаза, с восхищением рассказывал титулованному старику о своей недавней поездке в Россию, воодушевленно расхваливал Кремль, икру и комиссаров. Потом Драйер, пышущий теплом, раскрасневшийся, хохочущий, в поварском колпаке, подошел к ним, отвел Вилли в сторону и что-то ему зашептал, меж тем, как розовый инженер продолжал рассказывать другим гостям страшную повесть о том, как в такую же праздничную ночь трое господ в масках ограбили всю компанию. В зале, смежной с гостиной, зарокотал граммофон. Драйер закрутил огромную госпожу Грюн старшую, и та клокотала и отмахивалась и наконец рухнула на тахту. Франц стоял у портьера окна, жалея, что все еще не успел научиться танцевать. Он почувствовал, что Марта где-то совсем близко, – увидел ее белую руку на чьем-то черном плече, затем ее профиль, затем ее обнаженную бархатно-белую спину и чью-то чужую руку, опять профиль, опять спину, – и ноги ее, светлые, словно по колено голые, двигались, двигались как будто (если смотреть только на них) ноги женщины, не знающей, что с собой делать от нетерпения, от ожидания, – то медленно, то быстро ступавшие туда и сюда, поворачивавшие резко – и опять шагавшие в нестерпимом нетерпении. Она танцевала бессознательно, чувствуя только, как все время меняется расстояние между ней и Францем, стоящим у портьера. Мимоходом она заметила, что Драйер, оставив свою даму, просунул руку в портьеру – очевидно приоткрыл окно, так как в зале стало прохладнее. Танцуя, она мужа искала глазами; и не найдя его, поняла, что эта внезапная прохлада и легкость объясняются именно его отсутствием. Близко скользнув мимо Франца, она обдала его таким знакомым, выразительным взглядом, что он смешался и улыбнулся инженеру, лицо которого некстати подвернулось по прихоти танца. Еще и еще раз заводили граммофон, среди многих пар обыкновенных ног мелькали все те же упоительные ноги, и у Франца, от вина, от чужого кружения, начиналась какая-то бальная кутерьма в голове, словно все мысли его сразу научились плясать.

И внезапно что-то случилось.

Одна из барышень, среди танца, крикнула:

– Ах, смотрите, – портьера!

Все глянули, – и действительно портьера на окне странно шевельнулась, переменяла складки и в одном месте стала медленно набухать. Одновременно кто-то выключил электричество, и в темноте все заахали и остановились. В темноте странный овал света стал

бегать по зале, портьера раздвинулась, и молча появился при зыбком свете человек в маске, в лохмотьях, с трубковидным фонарем в протянутой руке. Кто-то пронзительно вскрикнул. Голос инженера спокойно сказал в темноте: «Держу пари, что это наш милый хозяин», И вдруг, заглушая граммофон, продолжавший играть в темноте, раздался сильный голос Марты. Она закричала так, что некоторые отхлынули к двери, которую пыхтя и животом смеясь, загораживал Вилли. Фигура в маске захрипела и, наводя на Марту фонарик, двинулась вперед. Многие и впрямь испугались, – и Марта, продолжая кричать, холодно отметила, что инженер, стоявший с ней рядом, вдруг заложил руку назад, под смокинг, и что-то как будто вынимает. Тогда, поняв, что значит ее крик, она завопила еще пуще, до непристойности громко, – понукая, улюлюкая...

Франц не выдержал. Он стоял всех ближе к вошедшему и теперь проворной пятерней стащил с его лица отвратительно хрустнувшую маску. Меж тем кто-то, наконец одолев пыхтевшего Вилли, включил свет. Посредине комнаты, в шарфе, в черных лохмотьях стоял Драйер и, помирая со смеху, пошатываясь, приседая, красный, растрепанный, указывал пальцем на Марту. Быстро сообразив, как теперь разрешить свой напускной ужас, она повернулась к мужу спиной, пожала голым плечом и спокойно подошла к замиравшему граммофону. Он бросился к ней и, смеясь, поцеловал ее в щеку. Франц почувствовал вдруг приступ давно назревавшей тошноты и быстро ушел из зала. За собой он слышал шум, все хохотали, орали, – вероятно толпясь вокруг Драйера, тиская его, тиская... Прижав платок к губам, Франц кинулся в переднюю, рванул дверь уборной. Оттуда огромной бомбой вылетела старуха Грюн и исчезла за поворотом стены. «Боже мой, Боже мой», – приговаривал он, согнувшись вдвое, – и потом, глубоко дыша, брезгливо вытирая рот, пошел медленно обратно. В гостиной он остановился. Зловеще горела широкая елка. Там, дальше, продолжался захлебывающийся шум голосов, ревел граммофон. Вдруг он увидел Марту.

Она быстро к нему подошла, оглядываясь на ходу. Как в дурном сне, пылала электрическая елка. Они были одни в яркой гостиной, а там, за дверью, был шум, гогот, кто-то кричал петухом.

– Сорвалось, – сказала Марта.

Ее пронзительные глаза были сразу и спереди, и сбоку, и сзади, – так все кружилось. Он спросил, плечом касаясь шуршавшей хвои:

– Что сорвалось?

– Я так больше не могу, – забормотала Марта, меж припадков лающего кашля, – ...не могу... И посмотри на себя: ты бледен, как смерть...

Шум за стеной разрастался, близился; уже казалось, – вот эта огромная елка орет всеми своими лампочками.

– ...Как смерть, – сказала Марта и закашлялась.

Он опять почувствовал прилив тошноты; шум голосов хлынул, Драйер, с топотом, потный, хохочущий, спасаясь от Грюна и инженера, промчался

мимо, за ними другие, – все кричало, гудело, стонало, – и этот хищный шум не умолк в ту ночь; он последовал наутро за Францем, окружал его потом и на улице, и дома, и во сне, и опять наяву. Как будто прорвались в мозгу тайные шлюзы, шумящая темнота помчала, закружила его. И пока он боролся, было еще страшно, – но когда он решился и отдался ревущему бреду – все стало так легко, так странно, почти сладостно. И было по-праздничному пусто на солнечных улицах, было тепло, было мокро, всюду большие лужи, полные рябого неба. К вечеру во всех окнах зажглись елки, – и прошла какая-то женщина в маске рождественского деда, с ватной бородой, – и раздавала какие-то объявления. Он шел и никак не мог сообразить, вчера ли был этот бал у Драйера или третьего дня. Но Марты он с тех пор не видел; значит, должно быть, – вчера. Он прислушался. Да, шум был тут как тут, – но уже ровный, понятный, признанный. «Я больше не могу». Да, она права. Все будет так, как она решит.

Он заторопился, нетерпеливо толкнул калитку, почти бегом бросился к дому. Никогда бы он нынче не пошел сюда, если б не совершенно непреодолимое желание увидеть Марту.

В передней он заметил рыжий чемодан и пару великолепных лыж. В холле друг против друга стояли Драйер и Марта. Он смеялся и быстро говорил; она молча кивала.

– А, Франц! – сказал он, обернувшись, и поймал племянника за пуговицу. – Вот это кстати. Я уезжаю недельки на три.

– Там – лыжи... – вяло проговорил Франц, и сам удивился, что Драйер перестал быть страшен ему.

– Да, лыжи. Я еду в Давос.

Он посмотрел на жену и рассмеялся:

– Нет, не приезжай ко мне. Повеселись тут на праздниках. Вот, Франц поведет тебя в театр. Право, моя душа, не сердись, что я тебя не беру. Снег только для мужчин. Этого не изменишь.

– Ты еще опоздаешь на поезд, – сказала Марта. Он посмотрел на часы, кивнул и стал торопливо прощаться. Горничная прибежала сказать, что таксомотор ждет у калитки. Они все вышли в сад. Капало. Марта, без шляпы, в кротовом пальто, шла, покачивая бедрами, соединив рукава. Довольно долго устраивали на крыше автомобиля длинные лыжи. В сторонке Том поедал навоз. Наконец, захлопнулась дверца. Таксомотор двинулся. Франц вяло отметил номер: 22221. Эта неожиданная единица после стольких двоек была странная. Они медленно пошли назад к дому по хрустящей тропе.

– Оттепель, – сказала Марта. – Я уже сегодня кашляю совсем мягко.

Франц подумал и сказал: «Да; но еще будет холодно».

– Возможно, – сказала Марта.

Когда они вошли в пустой дом, у Франца было впечатление, будто они вернулись с похорон.

## VIII

Она принялась его учить – упрямо и проникновенно. Стыдясь в начале, и спотыкаясь, и путаясь, он постепенно начинал понимать то, что, почти без слов, почти только мимикой, она внушала ему. Он прислушивался и к ней, и к завывающему звуку, который постоянно, то громче, то тише, ему сопутствовал, – и уже чуял в этом звуке ритмическое требование, и смысл, и правильность. То, чего хотела от него Марта, оказывалось таким простым... Почувствовав, что он это усвоил, она молча кивала, с пристальной улыбкой глядя вниз, как будто следя за движением и ростом уже отчетливой тени. Неловкость, стыд, то чувство горбатости, которое было сперва, – все это скоро пропало; зато прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила его, поработила его всецело; он уже не мог не слушаться разгаданного звука. Головокружение стало для него состоянием привычным и приятным, автоматическая томность – законом естества; и Марта уже улыбалась, уже прижималась виском к его виску, зная, что он с ней заодно, что он сделает так, как нужно. Уча его, она сдерживала свое нетерпение, нетерпение, которое он уже раз подметил в мелькании ее нарядных ног. Она теперь, стоя перед ним и двумя пальцами подтянув юбку, медленно, как в задержанном кинематографе, повторяла эти движения, чтобы он понял их, медленно переступала, поворачивала носок. Когда же, под напором ее ладони, он научился кружиться, когда, наконец, его шаги стали отвечать ее шагам, когда в зеркале она мимоходом заметила не кривой урок, а гармонический танец, тогда она ускорила размах, дала волю нетерпеливому волнению и сурово порадовалась его послушной быстроте.

Он познал одуряющий паркетный разлив огромных зал, окруженных ложами; он облакачивался на вялый бархат барьера; он видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах; он платил из ее шелкового кошелька лощеным, хищным лакеям; его макинтош и ее кротовое пальто часами обнимались в тесном сумраке нагруженных вешалок, под охраной позевывающих гардеробщиц; и все звучные названия модных зал и кафе, – тропические, хрустальные, королевские, – стали ему так же знакомы, как названия улиц в том городке, где он когда-то жил наяву.

И вот, запыхавшись, судорожно переводя дух, они сидели рядом на сизой кушетке, в его тихой комнатке.

– Новый год, – сказала Марта. – Наш год. Напиши матери, что тебе хорошо, что ты веселишься. Подумай, как потом... после... она будет удивлена...

Он спросил:

– А срок? Ты говорила о сроке... Какой ты установила срок?

– Самый краткий, самый краткий. Чем быстрее, тем лучше...

– Да, конечно, – медлить нельзя.

Она откинулась на подушки, заломив руки:

– Месяц, может быть два. Нужно все рассчитать, мой милый...

– Я без тебя сошел бы с ума, – сказал Франц, – меня все пугает. Эти обои, люди на улицах, мой хозяин... Его жена никогда не показывается. Это странно.

– Ты должен быть спокойнее. Иначе вообще ничего из дела не выйдет. Поди сюда...

– Я знаю – все будет чудесно, – сказал он, припадая к ней. – Но только нужно действовать наверняка. Малейший промах...

– Если ты будешь бояться, Франц...

– Нет, конечно, нет. Я не так выразился. Просто нужно найти верный способ...

– Быстро, мой милый, совсем быстро, – ты же слышишь ритм...

Как-то так вышло, что они уже не сидели на сизой кушетке, а танцевали, в озаренном пространстве между белеющих столиков, в кружащемся кафе. Оркестр играл, захлебываясь. Среди танцующих был рослый негр.

– Найдем, не можем не найти... – скороговоркой, в такт музыке, продолжала Марта. – Ведь мы в своем праве...

Он видел ее длинный горящий глаз, черную прядь, прикрывающую ухо... если б можно было так всегда, – не отрываясь от нее, скользить... Но был магазин, где он, как веселая кукла, кланялся, вертелся; но были ночи, когда он, как мертвая кукла, лежал навзничь в постели, не зная, спит ли он или бодрствует; – и кто это шаркает и шепчет в коридоре, – и почему гремит в ухо будильник?.. А ведь правда, уже рассвет, – и вот бровастый старичок с ужимочкой несет ему кофе. И на полу валяются пропотевшие порванные шелковые носки.

И в такое вот мутное утро, как-то в воскресенье, когда он пришел к Марте, и они чинно ходили по саду, – она молча показала ему снимок, который только что получила из Давоса. На снимке улыбался Драйер, в лыжном костюме, с палками в руках, и лыжи лежали параллельно, и кругом был яркий снег, и на снегу – тень фотографа.

Когда фотограф, – свой брат-лыжник, щелкнул и разогнулся, Драйер, продолжая сиять, двинул вперед левую лыжу, но так как стоял он на незаметном уклоне, лыжа скользнула дальше, чем он сам предполагал,

и, взмахнув палками, он довольно грузно повалился на спину. Некоторое время он не мог расцепить скрестившихся лыж и раза два, глубоко, по локоть уходил рукой в снег. Когда же он наконец поднялся, обезображенный снегом, и осторожно пошел, лицо его уже было серьезно. Он мечтал делать всякие стремительные християнии и телемарки, – резко поворачивать в облаке снега, лететь дальше по склону, – но Бог был, видимо, против этого. На снимке, однако, он вышел настоящим лыжником, и долго он любовался им, прежде чем сунуть его в конверт. Но на следующий день после отсылки снимка, утром, стоя в желтой пижаме у окна, он подумал, что вот уже здесь почти две недели, а меж тем на лыжах бегают так же плохо, как и в прошлую зиму. Вспомнил он, кстати, изобретателя, который, должно быть, уже принялся за работу в устроенной для него мастерской; вспомнил еще кое-какие занятные дела, связанные с расширением магазина да с продажей участка земли, до которого, ползя на запад, уже жадно дотянулся город; вспомнил все это, посмотрел на синие следы лыж, исполосовавшие снежный склон, – и решил до срока покатить обратно; и за этими мыслями была еще одна теплая мысль, которую он сознательно не пускал в передний ряд... Хотелось ему ненароком явиться домой, чтобы душу Марты застать врасплох, посмотреть, – улыбнется ли она от неожиданности, или встретит его так же плавно и немного хмуро, как если б была предупреждена об его приезде.

Мелкие белесоватые кусочки Франц швырнул в сторону, и ветер понес их по газону.

– Глупый... – спокойно сказала Марта. – Зачем ты это сделал? Он же меня спросит, – наклеила ли я этот снимок в альбом...

– Я альбом тоже когда-нибудь разорву, – сказал Франц, чувствуя, как ноги у него вдруг ослабели от волнения.

Издали, очень радостно, примчался Том: ему показалось, что Франц что-то бросил, – вероятно, камешек. Но камешка нигде не оказалось.

И как-то вечером, следуя все тому же мучительному желанию утвердиться, освободиться, войти в свои права, – Марта и Франц решили – хоть один этот вечер – пожить всласть, пожить так, как они потом заживут, устроить генеральную репетицию уже недалекого счастья.

– Ты сегодня здесь хозяин, – сказала она. – Вот твой стол, вот твое кресло, вот, если хочешь, вечерняя газета.

Он скинул пиджак, прошелся по всем комнатам, как будто осматривая их, как будто вернувшись в свой теплый дом из далекого путешествия.

– Все в порядке? – спросила она. – Ты доволен?

Он обнял ее за плечо и они оба стали бок о бок перед зеркалом. Был он в этот вечер плохо выбрит, вместо жилета надел простоватый рыжий свитер, – и в Марте тоже было что-то домашнее, тихое, ее волосы, недавно вымытые, лежали негладко, на ней была вязаная кофточка, которую она носила, только когда была совсем одна.

– Стой прямо. А то выходит, что мы одного роста.

– Так и есть, – усмехнулся он. – Смотри, я не могу вытянуться выше.

Потом он повалился в кожаное кресло, она села к нему на колени, и то, что она была довольно тяжеленькая, как-то подбавляло уюта.

– Я люблю твое ухо, – сказал он, приподнимая лошадиным движением губ прядь на ее виске.

В соседней комнате нежно и звучно заиграли часы. Франц тихо засмеялся.

– Нет, – ты подумай. Вдруг он бы вошел сейчас...

– Кто? – спросила Марта. – Я не понимаю, о ком ты говоришь?

– Да он. Вернулся бы, не предупредив. Он умеет так таинственно открывать двери.

– Ах, ты о моем покойнике... – лениво сказала Марта, покачиваясь на его коленях. – Нет, – покойник у меня аккуратный. Всегда предупредит...

Молчание. В тишине явственно тикали далекие часы.

– Покойник... – усмехнулся Франц, – ...покойник...

– Ты его ясно помнишь? – пробормотала Марта, почесывая нос об его плечо.

– Приблизительно. А ты?

– Я тоже. Это было так давно...

Она вдруг подняла голову:

– Франц, – сказала она, сияя глазами, – никто никогда не узнает!

Уже привыкший, уже совсем ручной, он молча закивал.

– Мы это сделали так просто, так точно... – сказала Марта, щурясь, словно вспоминала, – ни тени подозрения. Ничего. Потому что за нас наша судьба. Иначе и не могло быть. Ты помнишь похороны?

Он закивал опять.

– Была оттепель. Помнишь? Я еще кашляла, но уже мягко...

Молчание.

– У меня, знаешь, чуть-чуть нога устала, – шепнул Франц. – Нет, стой, не вставай, сядь только иначе. Вот так.

– Мое счастье, мое счастье... – сказала она. – Мой милый муж. Я никогда не думала, что могут быть такие браки, как наш...

Он скользнул губами по ее теплой шее и проговорил:

– Уж поздненько... Не пора ли нам спать. А?

– Какой ты... Спать захотел... Ну, ладно.

Она встала, сильно в него упершись; потом вся вытянулась, расправилась...

– Пойдем наверх, – сказала она, мягко зевнув. – В нашу спальню.

– Можно? – спросил Франц, но не двинулся с места.

– Конечно. Ну что же ты, – вставай. Уже половина одиннадцатого.

– Я, – знаешь, все-таки покойника-то... побаиваюсь, – сказал Франц, покусывая губы.

– Ах, он только явится через неделю. Чего тут бояться.

– Но все-таки... как же так... например, прислуга...

– Глупости. Спят мертвым сном. На другой стороне дома.

– Ну, хорошо, – решился Франц.

Они потушили свет в гостиной, медленно поднялись по внутренней лестнице, короткой и скрипучей; пошли по голубенькому коридору.

– Да что ты ходишь на цыпочках, – громко рассмеялась Марта. – Пойми же, – мы женаты, женаты...

Она показала ему пустую комнату для гимнастики, гардеробную, ванную и наконец спальню.

– Покойник спал вон на той постели, – сказала она. – Но, конечно, белье с тех пор переменили. Если хочешь помыться или что, пойдем вот сюда, в ванную.

– Нет, я тебя подожду здесь, – сказал Франц, рассматривая куклу на ночном столике: долголягий негр во фраке. Она оставила дверь полуоткрытой. Платье ее уже лежало на стуле. Оттуда из полуоткрытой двери лился какой-то фарфоровый свет и доносилось журчание воды.

Он вдруг почувствовал, что в этой чужой, нестерпимо белой комнате, где все напоминает ему того... покойника, – он раздеваться не в состоянии. С отвращением он поглядел на постель, что была поближе к окну, на большие колодки под стулом, – и ему стало попросту страшно.

Он прислушался. Ему почудилось, что за журчанием воды слышен еще

какой-то звук, кто-то будто стукнул дверью внизу, где-то что-то скрипит и потрескивает. Мгновенно ошарив от страха, он кинулся к двери ванной; одновременно вышла оттуда Марта, розовая, растрепанная, в оранжевом пеньюаре.

– Что-то произошло, – сказал он быстрым плюющимся шепотом. – Мы больше не одни. Ты прислушайся...

Марта нахмурилась и, приоткрыв дверь в коридор, постояла так, наклонив голову.

– Я тебя уверяю... Я слышал...

– Мне тоже стало неприятно, – тихо сказала Марта. – Знаешь, милый, мы все-таки не должны так безумствовать. Ведь теперь уже недолго ждать. Ты лучше уходи.

– Но как же... там, внизу... Как я спущусь...

– Никого нет, Франц. Нельзя быть таким нервным. Вот, возьми ключ; завтра мне отдашь.

Она проводила его до лестницы, продолжая прислушиваться и чувствуя сама неприятное волнение.

Что-то внизу громко и раздраженно стукнуло. Франц остановился, схватившись за перила. Но она облегченно рассмеялась.

– Ах, я понимаю, – сказала она, – это там есть такая дверь. Дверь нижней уборной. Она всегда хлопает по ночам, если ее плотно не затворить.

– Я, признаться, немножко испугался, – выдохнул Франц.

– Все-таки, милый, лучше уходи. Мы не должны рисковать.

Он обнял ее; она, улыбаясь, дала поцеловать себя в плечо, оттянув для этого кружево пеньюара, и оставалась стоять на площадке короткой, театрально-синей лестницы, пока он, сгорбившись поспешно отворял дверь.

Хватил по лицу сильный, чистый ветер. Гравий приятно захрустел под ногами. Франц глубоко набрал воздуха: затем чертыхнулся. Она была так хороша... Оранжевая, сияющая... если б он так легко не пугался... И его охватила тяжелая злоба при мысли, что призрак, покойник, выгнал его из дома, где по праву он, Франц, подлинный хозяин. Бормоча что-то на ходу, как часто с ним случалось в последнее время, он быстро пошел по темному тротуару, и затем, не глядя по сторонам, стал наискось переходить улицу в том месте, где всегда переходил, когда возвращался восвояси. Автомобильный рожок, гнусавый и яростный, заставил его отпрыгнуть. Франц, продолжая бормотать, ускорил шаг и завернул за угол. Меж тем таксомотор затормозил, неуверенно пристал к панели. Шофер слез и открыл дверцу, «Какой номер? – спросил он. – Я забыл номер». Никакого ответа. «Какой номер?» – повторил шофер и,

протянув руку в темноту, потряс сидящего за плечо. Тот не сразу проснулся. Наконец он открыл глаза, привстал, вылез на тротуар. «Пятый, – ответил он на вопрос шофера. – Вы немного промахнулись».

Окно спальни было освещено. Марта устраивала на ночь волосы. Вдруг она замерла с поднятыми локтями. Совершенно ясно она услышала громкий треск, как будто что-то упало. Она метнулась в коридор. Кто-то внизу, в передней, раскатисто смеялся, – знакомый смех. И смеялся он потому, что, неловко повернувшись с парой длинных лыж на плече, уронил их, сбил с подзеркальника белую щетку, взлетевшую бумерангом, и спотыкнулся о свои же чемодан. А затем, на мгновение, он узнал совершенное счастье. На лице Марты была изумительная улыбка. Он только не заметил, что глядит-то она не на него, а как-то через его голову, улыбаясь не ему, а доброй, умной судьбе, которая так просто и честно предотвратила нелепейшую катастрофу.

– Нам повезло... Судьба нас чудом спасла, – рассказывала она потом Францу. – Но это урок... Ты сам видишь: дольше тянуть невозможно. Раз пронесло, два пронесло, а затем – крышка. И что тогда будет? Предположим, он даст мне развод. Что дальше? Я совершенно так же бедна, как и ты, мои родители разорены, живут, бедняги, у моей сестры в Гамбурге, – никто ни мне, ни тебе не поможет. Да и разве две-три тысячи, которые я могла бы в конце концов добыть, чем-нибудь помогли бы? Нет, – нам нужно все...

Франц пожал плечами:

– Зачем ты мне это говоришь? Мы об этом достаточно уже толковали. Я отлично знаю, что есть только один путь.

Она тогда поняла, увидев, какой скользкий, мутный блеск стоит в его зеленоватых глазах, – она поняла, что теперь она своего добилась, что подготовлен он совершенно, созрел окончательно, и что можно теперь приняться за дело. И действительно: своей воли у Франца уже не было, но он преломлял ее волю по-своему. Легкая выполнимость ее замысла стала ему очевидной благодаря очень простой игре чувств. Уже однажды они Драйера удалили. Был покойник; были даже все внешние признаки смерти: тошнота смерти, похороны, опустевшие комнаты, воспоминание о мертвом. Все было уже проделано на голой сцене, перед темным и пустым залом. Затем, с потрясающей неожиданностью труп откуда-то вернулся, заходил, заговорил, – точь-в-точь, как живой. Но что из этого? Было легко и нестрашно положить этой мнимой жизни конец, из трупа опять сделать труп. И на этот раз окончательно.

Мысль об умерщвлении стала для них чем-то обиходным. Натянутости, стыда в этой мысли уже не было, как не было в ней и азартной жути, и всего того, что вчуже волнует доброго семьянина, читающего хронику в истерической газетке.

Слова «пуля» и «яд» стали звучать столь же просто, как «пилюля» или «яблочный мусс». Способы умерщвления можно было так же спокойно разбирать, как рецепты в поварской книге. И, быть может, именно по врожденной у женщины хозяйственной склонности к стряпне и природному знанию пряностей и зелий, полезного и вредного, – Марта прежде всего

подумала о ядах.

Из энциклопедического словаря они узнали о ядах Локусты и Борджиа. Какой-то отравленный перстень недели две мучил воображение Франца. По ночам ему снилось коварное рукопожатие. Он спросонья шаркался в сторону, и замирал, приподнявшись на напряженной руке; где под ним, на простыне, только что перекатился колючий перстень, и страшно было на него ненароком лечь. Но днем, при спокойном свете Марты, все было опять так просто. Тоффана продавала свою водицу в склянках с невинным изображением святого. Словно после благодушной понюшки, почихивала жертва министра Лэстера. Марта нетерпеливо захлопывала словарь и искала в другом томе. Оказывалось, что римское право видело в венефиции сочетание убийства и предательства. «Умники...» – усмехалась Марта, резко перевертывая страницу. Но она не могла добраться до сути дела. Ироническое «смотри» отсылало ее к каким-то алкалоидам. Франц дышал, глядя через ее плечо. Пробираясь сквозь проволочные заграждения формул, они долго читали о применении морфина, пока Марта, дойдя до каких-то плевритических экссудатов, не догадывалась вдруг, что речь идет о ядах прирученных. Обратясь к другой литературе, они узнали, что стрихнин вызывает судороги у лягушек. Марта начинала раздражаться. Она резко вынимала и ставила обратно в шкаф толстые тома. Мелькали цветные таблицы, ордена, этрусские вазы, осоковые растения... «Вот это уже лучше», – сказала Марта и негромко прочитала: «...рвота, ощущение тоски, звон в ушах, – не сопи так, пожалуйста, – невыносимое чувство зуда и жжения по всей коже... зрачки сужены до размера булавочной головки». Франц почему-то вспомнил, как в школьные годы тайком читал в таком же словаре статью о проституции. Но он взглянул на внимательный профиль Марты, и все стало опять вполне естественным. «Нет, – сказала она, цокнув языком, – медицина это, по-видимому, не так просто найти, как я думала. Нужно, что ли, каких-нибудь специальных книжек. Подтянись, Франц, – он приехал». Она не торопясь поставила том на место, не торопясь закрыла стеклянные створки шкафа, пока из загробного мира, посвистывая на ходу, пощелкивая над лающей собакой, близился Драйер. Но она не сдавалась. По утрам, одна, опять она рыскала глазами по увертливым статейкам энциклопедии, стараясь найти тот простой деловитый яд, который ей мерещился. Случайно в конце одного параграфа она наткнулась на библиографический список трудов по отравлению. Она посоветовалась с Францем, не купить ли одну из этих книг. Он побледнел, но сказал, что если нужно, пойдет и купит. Но она не решалась пускать его одного. Скажут ему, что книжку нужно выписать, или окажется, что труд состоит из десяти томов стоимостью в двадцать пять марок каждый. Он смешается, сдуру купит, даст свой адрес. Пойди она вместе с ним, он, конечно, будет держать себя превосходно, – естественно и небрежно: студент, мол, медик, химик. Но пойти вдвоем, – опасно. Да и раз втянешься в это, – начнешь бегать по магазинам... Черт знает, какая ерунда получится. Она перебрала в уме все то небольшое, что раньше знала или теперь выудила, – о способах отравления. Одно ей было уже ясно, что, во-первых, экспертиза всегда найдет причину смерти. Но все же она еще довольно долго, с покорным содействием Франца (купившего однажды совершенно самостоятельно на уличном лотке «правдивую историю маркиза Бренвилье, знаменитого отравителя»), продолжала лелеять мысль о яде. Как-то она даже остановилась на цианистом калии. Это

звучало уже не романтично, а бодро и солидно. Мышь, проглотив ничтожную часть грамма, падает мертвой, не пробежав и одной сажени. Она представила его себе в виде щепотки бесцветного порошка, которую можно было незаметно бросить в чашку чаю.

– Это было бы так просто, – сказала она Францу, улыбаясь своей чудесной, влажной улыбкой. – Пили бы вместе чай, вечерком, и вдруг...

– Надо достать, – ответил он. – Я достану. – Но только я совершенно не знаю, как. Ведь, если пойти в аптеку... нет, я совершенно не знаю...

– Ты прав, – усмехнулась Марта, – конечно, есть кабачки, где можно познакомиться с какой-нибудь личностью, – вроде тех, которые торгуют кокаином... Но это все не то. Свинство мечтать, когда мы в таком положении. А даже если удастся что-нибудь достать, – то все равно вскроют, узнают. Я почему-то думала, что есть такие яды, которые действуют бесследно. Взял и помер. Врачи полагают, что от разрыва сердца. И дело с концом. Я совершенно была уверена, что существуют такие яды. Ужасно глупо, что их нет. И как жаль, Франц, что ты не медик, – мог бы разузнать, рассудить...

– Я все готов сделать, – сказал он несколько сдавленным голосом, так как в эту минуту стаскивал башмаки, а они были новые и неприятно жали. – Я на все готов. Я тоже думал... Я тоже...

– Много мы потратили времени попусту, – вздохнула Марта. – Я, конечно, не ученая...

Она аккуратно сложила на кресле снятое платье. Была она в плотных вязаных панталонах и в нательной фуфайке под блестящей розовой сорочкой, – так как в февральские, пронзительно-ветренные дни всегда боялась бронхита.

– Нужно годами изучать яды, – сказала она, открывая постель. – Только тогда можно за это браться.

Он, в свою очередь, аккуратно натягивал снятый пиджак на деревянные плечи вешалки, предварительно вынув и положив на стол: перо, два карандаша, записную книжку, ключи, кошелек с тремя марками, письмо к матери, которое он забыл отправить. Затем он снял часы с кисти, положил их на ночной столик. Она всегда уходила ровно в четверть девятого. Оставалось двадцать пять минут.

– Милый, поторопись... – сквозь зубы проговорила Марта.

– Эх, какую я мозоль себе натер, – крикнул он, поставив босую ногу на край стула и разглядывая желтую шишку на пятом пальце. – А ведь это мой номер. Ноги, что ли, у меня выросли...

– Франц, иди же. Потом будешь осматривать.

После, действительно, он осмотрел мозоль основательно. Марта еще лежала с закрытыми глазами, неподвижно и блаженно. На ощупь мозоль была как камень. Он надавил на нее пальцем и покачал головой. Во

всех его движениях была какая-то вялая серьезность. Надув губы, он почесал темя. Потом, с той же вялой основательностью, стал изучать другую ногу. Никак в голове не укладывалось, что, вот, номер – правильный, а все-таки башмаки оказались тесными. Вон они там стоят в углу, рядышком, желтые, крепкие. Он подозрительно на них посмотрел. Жалко, – такие красивые. Он медленно отцепил очки, дохнул на стекла, открыв рот по-рыбьи, и концом простыни стал их протирать. Потом так же медленно надел.

Марта, не открывая глаз, сладко вздохнула. Затем быстро приподнялась, посмотрела на часики. Да, надо одеваться, уходить.

– Ты сегодня непременно приходи ужинать, – сказала она, поспешно щелкая подвязками. – Еще когда гости, – то ничего, – а мне сидеть вдвоем с ним весь вечер... Это невозможно. Через полчаса, как всегда. И не надевай башмаков, если они жмут. А завтра пойдешь и потребуешь, чтобы их размяли. Конечно, бесплатно. И знаешь, Франц, нам нужно поторопиться. Каждый день дорог... Ох, как дорог...

Он сидел на постели, обняв колени, и смотрел, не мигая, на светлую точку в графине, стоявшем на умывальнике, он ей показался, – в этой раскрытой на груди рубашке, в этих слепых очках, – таким особенным, таким милым... Неподвижность гипноза была в его позе и взгляде. Она подумала, что одним лишь словом может его заставить, вот сейчас, встать и пойти за ней, – как есть, в одной рубашке, по лестнице, по улицам... Чувство счастья дошло в ней вдруг до такой степени яркости, так живо она представила себе всю их ясную, прямую жизнь после удаления Драйера, – что она побоялась хотя бы взглядом нарушить неподвижность Франца, неподвижность ей снившегося счастья; она быстро накинула пальто, взяла шляпу и, тихо смеясь, вышла из комнаты. В передней, у жалкого зеркала, она тщательно шляпу надела, поправила виски. Как хорошо горят щеки...

Откуда-то вынырнул старичок хозяин и низко ей поклонился.

– Как здоровье вашей супруги? – спросила она, берясь за дверную ручку.

Он поклонился опять.

Марта почему-то подумала мельком, что этот сухенький, чем-то неприятный старикашка наверное знает кое-что о способах отравления. Любопытно, что он там делает со своей незримой старухой. И еще несколько дней она не могла отделаться от мысли о ядах, хотя знала, что из этого не выйдет ничего. Сложный, опасный, несовременный способ. Вот именно – несовременный. «Если в середине прошлого века разбиралось ежегодно средним числом сорок дел об отравлении, то зато в наши дни...» Вот именно. Но жалко, жалко отказаться от этого способа. В нем такая домашняя простота. Ах, как жалко...

Драйер поднял чашку к губам. Франц невольно встретился глазами с Мартой. Белоснежный стол на оси хрустальной вазы описал медленный круг. Драйер опустил чашку, и стол остановился.

– ...Свет там плоховат, – продолжал он, – и холодно, как в погребке. Но, конечно, тренируешься, подача не расклеивается за зиму. Впрочем... (опять глоток чая) ...слава Богу, скоро можно будет играть на открытом воздухе. Мой клуб оживет через месяц. Тогда–то мы и начнем. А, Франц?..

Накануне, около девяти утра, он ни с того, ни с сего явился в магазин. Маленькая сенсация. Франц видел в какой–то зеркальной перспективе, как он там, в глубине, остановился, заговорил с почтительно склонившимся Пифке. Приказчицы и коллега–атлет сперва замерли, потом стали суетливо что–то запаковывать и записывать, хотя покупателей в этот ранний час еще не было. Драйер подошел к прилавку, за которым сумрачно и подобострастно застыл Франц.

– Работай, работай, – сказал он с тем рассеянным добродушием, с каким всегда обращался к племяннику. Потом он остановился перед восковым молодцом, которого недавно переодели в теннисный костюм: фланелевые штаны, белые туфли.

Он стоял перед ним долго, – с удовольствием и нежным волнением думая о той работе, над которой сейчас счастливо мучился изобретатель. Молодой человек держал в руке ракету. Он держал ее так, что было ясно: ни одного движения он ею сделать не может. Живот у него был безобразно подтянут. На лице – выражение какого–то гордого идиотизма. Драйер вдруг с ужасом заметил, что на нем галстук. Поощрять людей надевать галстук, чтобы играть в теннис...

Он обернулся. Другой молодой человек, по внешним признакам – живой и даже в очках, кивая, выслушал его короткое приказание.

– Кстати, Франц, – добавил Драйер, лукаво улыбнувшись, – покажи мне самые лучшие ракеты.

Франц показал. Пифке смотрел издали с умилением. Драйер выбрал английскую. Пощелкал по янтарным струнам. Взвесил ее на пальце, проверяя, что тяжелее, рама или рукоятка. Провел ею по воздуху, ударяя воображаемый мяч. Она была очень приятная.

– Ты ее держи в прессе, – обратился он к Францу. Франц почему–то побледнел.

– Маленький подарок, – вскользь объяснил Драйер и, бросив напоследок недружелюбный взгляд на воскового молодца, направился в соседний отдел.

Франц машинально подошел к этому мертвецу в белой рубашке, в белых штанах, и стал осторожно развязывать ему галстук. При этом он старался не касаться холодной шеи. Стянув с него галстук, он расстегнул пуговку. Ворот распахнулся. Тело было бледное, в странных географических пятнах. Выражение молодого человека приобрело, благодаря открытому вороту, что–то наглое и нечистоплотное. Под глазом у него был белесый развод, в ноздри набилась черная пыль. Франц попробовал вспомнить, где он уже видел такое лицо. Да, конечно, давным–давно, в поезде. В поезде, кроме того, была дама в

черной шапочке с бриллиантовой ласточкой. Холодная, душистая, прелестная дама. Он попытался воскресить в памяти ее черты, но это ему не удалось.

## IX

Уже в дождях было что-то веселое и осмысленное. Дожди уже не моросили попусту, а дышали и начинали говорить. Дождевой раствор стал, пожалуй, крепче. Лужи состояли уже не просто из пресной воды, а из какой-то синей, искрящейся жидкости. Два пузатых шофера, чистильщик задних дворов в своем песочного цвета фартуке, горничная с горящими на солнце волосами, белый пекарь в башмаках на босу ногу, бородатый старик-иностранец с судком в руке, две дамы с двумя собаками и господин в сером борсалино, в сером костюме столпились на панели, глядя вверх на угловой бельведер супротивного дома, где, пронзительно переговариваясь, роилось штук двадцать взволнованных ласточек. Затем желтый мусорщик подкатил к грузовику свой желтый металлический бочонок, шоферы вернулись к своим машинам, пекарь махнул на свой велосипед, горничная вошла в писчебумажную лавку, потянулись дамы следом за своими собаками, сошедшими с ума от каких-то новых, выразительных дуновений, – последним двинулся господин в сером, и только бородатый старик-иностранец, с судком в руке, один продолжал неподвижно глядеть вверх.

Господин в сером пошел медленно и щурился от неожиданных белых молний, которые отскакивали от передних стекол проезжавших автомобилей. Было что-то такое в воздухе, от чего забавно кружилась голова, то теплые, то прохладные волны пробегали по телу, под шелковой рубашкой, – смешная легкость, млеющий блеск, утрата собственной личности, имени, профессии.

Господин в сером только что пообедал и должен был, в сущности говоря, вернуться в контору, – но в этот первый весенний день контора тихонько испарилась.

Навстречу ему по солнечной стороне улицы шла худенькая дама в пегом пальто, и с нею рядом катил на трехколесном велосипеде мальчик лет пяти в синей матроске.

– Эрика! – вдруг воскликнул господин и резко остановился, раскинув руки.

Мальчик, проворно колеса, проехал мимо, но дама замерла, мигая от солнца.

Он сразу заметил, что она теперь наряднее и как-то тоньше. Еще мельче стали черты ее подвижного, умного, птичьего лица. Но налет прошлой прелести исчез. Конечно, она постарела со дня их разлуки.

Семь лет с лишком, – шутка ли сказать!..

– Я видела тебя дважды за это время, – проговорила она таким знакомым, хриловатым, скорым голоском. – Раз ты проехал в открытом автомобиле, а раз – в театре: ты был с высокой темной дамой. Твоя жена, правда? Я сидела от вас...

– Так, так, – сказал он, смеясь от удовольствия и взвешивая ее маленькую руку в тугий белой перчатке. – Но вот уж я не думал тебя встретить сегодня. Это что – твой ребенок? Ты замужем?

Одновременно говорила и она, так что этот разговор трудно записать. Надобно было бы нотной бумаги, два музыкальных ключа. Пока он говорил: «...вот уж я не думал...», – она уже говорила свое: «...через, может быть, десять кресел. Я так и поняла, что это твоя жена. Ты не изменился, Курт. Только усы подстрижены. Да, это мой мальчик. Нет, я не замужем. Плод недоразумения. Проводи меня кусочек...»

– Семь лет, – сказал Курт. – Да, я свободен, погуляем тут на солнышке. Я, знаешь, только что видел – нет, не совсем так много...

– ...миллионы. Я знаю, что ты зарабатываешь миллионы. И я тоже устроилась... («не совсем так много, – вставил Курт, – но ты мне лучше скажи...») ...очень счастлива. У меня после тебя было только четверо, но зато один богаче другого. А теперь совсем хорошо. У него – чахоточная жена за границей. Он как раз на месяц уехал к ней. Немолодой, солидный. Обожает меня. А скажи, Курт, ты–то счастлив?

Курт улыбнулся и подтолкнул синего мальчика, который остановился было, глядя на него круглым детским взглядом, а потом, дудя губами, запедалил дальше.

– ...Это от молодого англичанина. Вот мы какие. И смотри, он как модная дама подстрижен. Если бы мне тогда сказали...

Он слушал ее проворный лепет и вспоминал тысячу мелочей: какие–то стихи, шоколадные конфеты с ликером в середине («Нет, эта опять с марципаном, я хочу с ликером...»), аллею памятников в центральном парке, – и то, как эти смешные пузатые короли были чудесно хороши лунной ночью, среди цветущей, электрическим светом убеленной сирени... Такие бледные, такие неподвижные – и такой сладкий запах, о Господи, и непонятные громады теней... Те два коротких веселых года, когда Эрика была его подругой, он вспомнил теперь, как прерывистый ряд мелких забавных подробностей: – картину, составленную из почтовых марок, у нее в передней, ее манеру прыгать на диван, или сидеть, подложив под себя руки, или вдруг быстро похлопывать его по лицу; и оперу «Богема», которую она обожала; поездку за город, где, на террасе, под цветущими деревьями, они пили фруктовое вино; эмалевую брошку, которую она там потеряла... Все это легкое и немного щемящее взыграло в нем, пока она быстро и легко, в такт его воспоминаниям, рассказывала о том, какая у нее теперь квартира, рояль, гравюры...

– Помнишь, – сказал он и пропел фальшиво, но с чувством: «меня зовут Мими...»

– О, я уже не богема, – усмехнулась она, быстро-быстро трясая головой, – а вот ты все такой же, такой... (она не сразу могла подобрать слово) ...пустяковый.

Он опять подтолкнул мальчика, сгорбившегося над рулем, хотел его мимоходом погладить по светлокудрой голове, но тот уже отъехал...

– Ты мне не ответил: ты счастлив? – спросила Эрика. – Скажи?

– Пожалуй – не совсем, – ответил он и прищурился.

– Жена тебя любит?

– Как тебе сказать... – проговорил он и опять прищурился. – ...Видишь ли, она очень холодна...

– Верна тебе? Держу пари, что изменяет. Ведь ты...

Он рассмеялся:

– Ах, ты ее не знаешь. Я тебе говорю, – она холодна. Я себе не представляю, как она кого-либо – даже меня – по своей бы воле поцеловала.

– ...Ведь ты все тот же, – лепетала Эрика промеж его слов. – Я так и вижу, что ты делаешь со своей женой. Любишь и не замечаешь. Целуешь и не замечаешь. Ты всегда был легкомыслен, Курт, и в конце концов думал только о себе. О, я хорошо тебя изучила. В любви ты не был ни силен, ни очень искусен. И я, знаешь, никогда, никогда не забуду нашего расставания. Так глупо шутить... Скажем, ты меня больше не любил, скажем, – ты был свободен, мог поступить, как хотел. Но все-таки...

Он опять рассмеялся:

– Да... я не знаю. Как-то так вышло. У меня была невеста. И все такое. Впрочем, я тебя не забывал долго.

– Ты знаешь, Курт, по правде сказать, были минуты, когда ты меня делал попросту несчастной. Я понимала вдруг, что ты только... скользишь. Не могу объяснить это чувство. Ты сажаешь человека на полочку и думаешь, что он будет так сидеть вечно, а он сваливается, – а ты и не замечаешь, – думаешь, что все продолжает сидеть, – и в ус себе не дуешь...

– Напротив, напротив, – перебил он, – я очень наблюдателен. Вот, например, – у тебя раньше челка была светлая, а теперь какая-то рыжая...

Она, как в былое время, ладонью толкнула его в плечо.

– Бог тебе судья, Курт. Я уже давно перестала на тебя сердиться. Приходи ко мне кофе пить как-нибудь. Поболтаем, вспомним старое...

– Конечно, конечно, – сказал он, отлично зная, что никогда этого не сделает.

Она дала ему свою визитную карточку (которую он потом оставил в пепельнице таксомотора) и на прощание долго трясла ему руку, продолжая быстро–быстро говорить. Смешная Эрика... Это маленькое лицо, нежные ресницы, птичий нос, хриплый торопливый говорок.

Мальчик на велосипедике тоже подал руку и тотчас заколесил опять. Обернувшись, Драйер несколько раз на ходу помахал шляпой, извинился перед столбом фонаря, пропустил его и, надев шляпу, пошел дальше. Напрасная все–таки встреча. Теперь уж никогда не будешь помнить Эрику, как помнил ее раньше. Ее всегда будет заслонять Эрика номер второй, нарядная, в незнакомой шляпе и пятнистом пальто, с мальчиком на велосипедике. И хорошо ли было ответить, что он «не совсем счастлив». Чем он несчастен? Зачем было так говорить? Быть может, вся прелесть Марты именно в том, что она так холодна. Есть холодок в ощущении счастья. Она и есть этот холодок. Воплощение самой сущности счастья. Сокровенная прохлада. Эрика, постельная попрыгунья, конечно, не может понять, что такой холод – лучшая верность. Как можно было так ответить... А кроме того, вот это все, – что кипит кругом, смеется, искрится каждый день, каждый миг, – просит, чтобы посмотрели, полюбили... Мир, как собака, стоит – служит, чтобы только поиграли с ним. Эрика, небось, забыла всякие смешные поговорки, песенки, и Мими в розовой шляпе, и фруктовое вино, и движение солнечного пятна на ступени. Хорошо бы поехать в Китай...

В тот день Драйер был особенно весел. В конторе он продиктовал секретарю совершенно невозможное письмо к одной старой, заслуженной фирме. Под вечер, в странно–освещенной мастерской, где медленно рождалось чудо, он хлопал изобретателя по спине, так что тот вдвое сгибался и делал поневоле смешные маленькие шаги. А за ужином он, с невозмутимым видом, Франца экзаменовал по прилавочной науке, задавал ему нелепые вопросы, вроде: «как бы ты поступил, если б вот моя жена вошла в мой магазин и на твоих глазах украла воскового теннисиста?» или: «какой номер обуви следует дать старушке ростом в метр с четвертью при продаже ей футбольных сапог?» Франц, у которого юмор был туговат, тарачил глаза и облизывался. Это так забавляло Драйера, что он едва мог сдерживать глухие судороги смеха. Марта в холодном рассеянии, играла чайной ложкой: изредка касалась ею стакана и пальцем тушила звон.

За этот месяц она с Францем перебрала несколько новых способов, – и опять–таки говорила она о них с такой суровой простотой, что Францу не было страшно, – благо происходило в нем странное перемещение: незаметно для него самого Драйер раздвоился. Был Драйер, опасный, докучливый, который ходил, говорил, хохотал, – и был какой–то, отклеившийся от первого, совершенно схематический Драйер, которого и следовало уничтожить. Все, что говорилось о способах истребления, относилось именно к этому второму, схематическому объекту. Им было очень удобно орудовать. Он был плоский и неподвижный. Он был похож на те фотографии, вырезанные по очерку фигуры и подкрепленные картоном, которые любители дешевых эффектов ставят к себе на

письменный стол. Но Франц не сознавал появления этого неживого лица, – и потому – то не задумывался над тем, почему так легки и просты роковые о нем разговоры. В действительности выходило так, что Марта и он говорят о двух разных лицах: она – об оглушительно шумном, невыносимо живом, приглаживающем усы серебряной щеточкой и храпящем по ночам с торжествующей звучностью, а Франц – о бледном и плоском, которого можно сжечь, или разорвать на куски, или просто выбросить. Это неуловимое раздвоение только еще начиналось, когда Марта, забрав отравление, как покушение на жизнь с негодными средствами (о чем пространно было сказано в многострадальном словаре) и как нечто отжившее, не подходящее к современной жизни, столь «практической» в ее представлении, заговорила об огнестрельном оружии. И тут холодная и по существу аляповатая ее изобретательность развернулась довольно широко. Бессознательно набирая рекрутов в захолустьях памяти, безотчетно вспоминая подробности хитрых убийств, описанных когда-то в газетке, в грошовой книжке, и совершая тем самым невольный плагиат, которого, впрочем, избежал один разве Каин, Марта предложила следующее: во-первых, Франц приобретет револьвер. Затем – («Я умею стрелять, – вставил Франц. – У меня был, помню, духовой пистолет; он стрелял совсем как настоящий, – мелкими такими пулями...»). Так как он оружием немного владеет («хотя знаешь, милый, нужно будет тебе все-таки подучиться, – где-нибудь за городом...»), то этим дело несколько облегчается. А состоит оно вот в чем: она задержит Драйера до полуночи в гостиной («как это ты сделаешь?» – «Не перебивай, Франц, у меня есть такой способ...»). В полночь она подойдет к окну – в соседней комнате, – отдернет занавеску и так постоит некоторое время. Это будет сигнал. Франц, подошедший в эту минуту к ограде сада, увидит ее. Она бесшумно откроет окно и вернется к Драйеру в гостиную. Франц тогда сразу перемахнет в темноте через калитку («это легко сделать... Там, правда, такие железные шипы, но можно как-нибудь между ними...») и, очень быстро перейдя сад, войдет в окно. Дверь гостиной будет открыта. Он выстрелит с порога. Заберет для видимости бумажник. И сразу исчезнет. Она меж тем быстро поднимется к себе, – разденется и ляжет. Вот и все.

Франц кивнул.

Другой способ такой: она поедет вдвоем с Драйером за город. Вдвоем пойдут гулять. Предварительно она и Франц выберут место поглуше («В лесу», – сказал Франц – и представил себе сосновую темную чащу). Он будет ждать за деревом с револьвером наготове. Когда с тем будет уже покончено, он ей прострелит руку («да, это нужно, милый; это выйдет так естественно, – разбойники, дескать...»). Кроме того, он заберет бумажник.

Франц кивнул.

Эти два способа были основные. Другие были только вариации на тему. Справедливо считая, что подробности в таких делах важнее сути, Марта разработала тему ночного ограбления и тему лесного разбоя в мельчайших деталях. При этом у Франца оказался неожиданный и очень счастливый дар: он мог с необыкновенной, прямо-таки чертежной, ясностью представить себе и свои движения, и движения Марты, и

отчетливо согласовать их наперед, – не только в их взаимном отношении, но и в отношении к тем различным пространственным и предметным понятиям, которыми приходилось орудовать. В этой его ясной и гибкой схеме одно всегда оставалось неподвижным, но этого несоответствия Марта не заметила. Неподвижной всегда оставалась жертва, словно она уже заранее одеревенела, ждала. Вокруг этой мертвой точки мысль Франца ходила с акробатической легкостью. Все необходимые движения и последовательность их были рассчитаны превосходно. То, что называлось «Драйер», отличалось от того, чем Драйер станет, только поскольку стоячее положение отличается от лежачего. Разница в перспективе, и больше ничего. В этом Марта бессознательно помогала Францу тем, что, описывая будущее умерщвление, всегда принимала за аксиому, что Драйер будет взят врасплох и не успеет от удивления защищаться. Она совершенно ясно представляла себе, как он поднимет брови, увидев Франца с револьвером, и как захохочет, полагая, что тот шутит, и как повалится, доканчивая свой смех уже под другой долготой. Ставя его, ради уменьшения риска, в положение какого-то готового, запакованного, перевязанного товара, она не понимала, как этим дело облегчает Францу. «Смышленный мальчик, – усмехалась она, целуя его в щеку. – Хороший, понятливый». И, тупо ободренный ее похвалой, он представил своеобразную смету, – число шагов от ограды до окна, число секунд, которого это прохождение потребует, расстояние от порога гостиной до воображаемой точки над спинкой кресла, где будет находиться ожидающий затылок (ибо он для удобства болванку усадил), и отношение всех этих шагов и секунд к действиям Марты: ее место в комнате, точное время, которое ей нужно будет, чтобы по данному числу ступеней побежать наверх и лечь в постель; и число движений, которые он тем временем сделает, вынимая бумажник, направляясь к окну и возвращаясь через окно в анонимный сумрак.

Изо дня в день в комнате, где кряхтела все та же сизая кушетка, и улыбалась голая олеография, и давно уже валялась в углу новенькая, дорогая, но никому не нужная ракета, Марта и Франц вырабатывали подробности то первого плана, то второго и уже поговаривали о том, что пора достать револьвер. И лишь только они стали думать, как это сделать, появился нелепый затор. Оба были уверены, что для покупки огнестрельного оружия непременно требуется разрешение на ношение оно. Затор состоял в том, что ни Марта, ни Франц не имели ни малейшего понятия, как такое разрешение добыть. Кого-то нужно было расспросить, разузнать все толком, – а там, может быть, придется писать прошение, подписывать его... Оказывается, что самое-то добывание револьвера стократ сложнее и опаснее, чем его применение. Такой парадокс Марта не могла потерпеть. Она уничтожила его тем, что уже и в выполнении замысла отыскала неодолимые трудности. Был, например, сторож особняка, хладнокровный мужик, который дежурил зорко и чутко. Был полицейский, который частенько, как бы гуляючи, проходил по этой улице; был ночной старичок в плаще, с фонариком. Точно так же и в «лесном» плане нашлись пробелы, недочеты: как, например, заранее наметить место, сколько это нужно предварительно блуждать, высматривать.

И когда, таким образом, выполнение стало чудовищно сложным, вопрос о приобретении оружия отошел на должное место, показался не таким уж

неразрешимым: есть, вероятно, любезные оружейники, в северной части города, которые особых препятствий не чинят. Так Марта мельком удовлетворила присущее ей чувство законных соотношений.

Итак, нужно было достать маленький, верный револьвер. Но она вдруг представила себе, как это Франц будет ходить – такой милый, длинный, нерасторопный – по оружейным лавкам, как продавцы станут, чего доброго, задавать ему неприятные вопросы, как они запомнят его черепаховые очки и объяснительные движения тонких, белых рук, как потом – после – намотает это себе на ус какой-нибудь пронирливый сыщик... Вот если бы ей можно было пойти купить... И внезапно какой-то посторонний образ проплыл, остановился, повернулся, поплыл опять, как те предметы, которые сами собой движутся в рекламном фильме. Она поняла, почему образ револьвера, который следовало достать, был, в ее представлении, такого определенного вида и окраски. Из глубины памяти вышло и засмеялось лицо Вилли, и склонилось, рассматривая что-то. Она сделала еще одно усилие и вспомнила: ведь это Драйер показывал ему револьвер. Вилли вертел его в руках и смеялся. Больше ничего она не могла вспомнить, но этого было довольно. И она поразилась и порадовалась тому, как бережно и предусмотрительно ее ум сохранил мимолетное впечатление.

День был воскресный. Драйер и Том ушли гулять. Все окна в доме были открыты. В неожиданных углах комнат горело солнце. Ветерок перелистывал валявшийся на подоконнике первоапрельский (уже старый) номер журнала с фотографией найденных рук Милосской Венеры. Прежде всего Марта хорошенько исследовала ящики письменного стола. Среди синих папок с бумагами она нашла несколько палочек золотистого сургуча, электрический фонарик, три гульдена и один шиллинг, тетрадку с английскими словами, трубку (сломанную), которую она давным-давно ему подарила, старенький альбом пожелтевших снимков, кнопки, веревочки, часовое стеклышко и прочий мелкий хлам, приводивший ее в бешенство. Кое-что она с удовольствием отправила в корзину. Затем резко вдвинула ящики и, оставив оглушенный стол, пошла наверх, в спальню. Там она перерыла два белых комода, ночной столик, зеркальный шкаф, – нашла, между прочим, обгрызанный зубами Тома твердый шар, попавший, Бог весть как, в ящик, где рядом стояли мужнины башмаки. Шар она выбросила в окно. После чего стукнула дверь, опять побежала вниз. Мельком она заметила в зеркале, что пудра сошла с носа, растрепались виски; в этот день ей нездоровилось: было неудобно и жарко. Осмотрев еще несколько ящиков в различных комнатах, причем сама на себя сердилась, что уже начинает искать в нелепых местах, она наконец решила, что револьвер в сейфе, от которого у нее нет ключа, либо в конторе. На всякий случай она опять попытала письменный стол. Он весь подобрался и замер при ее приближении. Захлопали ящики, как оплеухи. Осмотрен. Осмотрен. Осмотрен. В одном был большой рыжий портфель. Она его злобно приподняла. Под ним в глубине мелькнул небольшой черный револьвер. Одновременно где-то сзади раздался голос мужа, – и, опустив портфель, она быстро задвинула ящик.

– Райский день, – нараспев говорил Драйер. – Прямо настоящее лето...

Она, не оборачиваясь, сурово сказала:

– Где-то у тебя был пирамидон. Голова трещит.

– Не знаю. Вышел, – ответил он и стал посвистывать.

Только тогда она взглянула на него: он тяжело уселся на кожаную ручку кресла и платком вытирал лоб.

– Знаешь что, моя душа, – сказал он. – У меня блестящая мысль. Я поэтому так скоро вернулся. Вот что: позвоню я Францу, и айда на теннис. Что ты на это скажешь?

– Уже поздно, – ответила она. – Стоит ли?..

– Сейчас только одиннадцать. Ровно одиннадцать. Жаль тратить зря такую погоду. И ты тоже поезжай с нами. А?

Она согласилась только потому, что знала, как Францу было бы невыносимо поехать с ним вдвоем. Драйер стал внезапно двигаться необычайно быстро. Франц, взятый врасплох, явился в обыкновенном костюме, только башмаки надел резиновые. Драйер, пытая от нетерпения, боясь, что вот сейчас раздуется в небе дождевая туча, помчал его наверх и выдал ему пару белых фланелевых штанов. Подбоченясь и склонив голову набок, он с тревогой смотрел, как Франц переодевается. Франц, внутренне обмертвев от ужаса и стыда, от чувства, что невольной мимикой предаёт свою тайну, топтался, переступал, топтался, вбирал, вытягивал ногу, уговаривая себя, что все это только дурной сон. Драйер тоже стал переступать. Франц был в бледно-лиловых кальсонах. Ужас длился. Было невыносимое мгновение, когда он прыгал на одной ноге, натягивая на другую штанину, меж тем, как Драйер делал смутные движения протянутой рукой, точно хотел помочь. Не менее ужасно было застегивать пуговицы, затягивать пряжки... Драйер облегченно усмехнулся: штаны оказались впору. Он взял Франца за локоть, повернул его так и эдак и ладонью плотно хлопнул его по задку. Долго потом в сознании у Франца ходило что-то раскорякой, почти валясь навзничь, подбирая зад. Это ощущение продолжалось, пока он сидел в автомобиле. При выходе Драйер хлопнул его ещё раз.

Звучно стучали мячи. На пяти красноватых площадках метались туда и сюда белые фигуры. Кругом были высокие проволочные сетки, завешанные зеленым брезентом. Перед клубным павильоном белели столики, плетеные кресла. Все было очень чисто, резко и нарядно. Марта разговорилась с какой-то толстоногой белобрысой дамой, у которой на лбу был козырек против солнца, а под мышкой две ракеты. Драйер ушел в павильон. Марта и белая дама говорили громко, но ни одного слова Франц не улавливал. Шальной мяч прыгнул мимо него, на столик, на стул, на песок.

Он его поднял. Подбежал мальчишка с сачком. Франц кинул ему мяч. Прошли две барышни с голыми руками, в плиссированных белых юбочках, плоско ставя ноги, как будто шли босиком. Глаза веселые, солнечные. Нет, все это миновало. Все это теперь кончено. Подле одной из площадок, на лесенке, сидел человек и, следя за перелетами мяча, как автомат, поворачивал голову вправо, влево, вправо, влево, словно

отрицал что-то. Нет, нет, нет, – миновало все это. В черной проеме двери появился ослепительно белый Драйер. «Пошли», – крикнул он и подпрыгивающей походкой, сияющий, с мохнатым полотенцем, перекинутым через плечо, с коробкой новых мячей в руке, он направился к площадке. Марта простилась с дамой и села в плетеное кресло. На площадке, в нескольких шагах от нее, Драйер медленно мерил ракетой высоту сетки. Франц по другой стороне ждал, хмуро глядя вверх, на пролетающий аэроплан. Она со строгой нежностью отметила его блестящие очки, длинные, милые ноги. Драйер, окончив свои манипуляции, тяжеловатой трусцой побежал к задней линии. Франц остался стоять посреди своего прямоугольника, глядя на сетку и крепко держа ракету в протянутой вбок руке. Драйер старательным, размашистым, но все же не очень чистым ударом поддал снизу мяч. Франц вздрогнул, шагнул в сторону, потом повернулся, побежал за мячом, неуловимо мелькнувшим мимо. Он настиг его у проволочной сетки, с разбегу наступил на него и чуть не упал. Не торопясь, он пошел обратно. Драйер, наблюдавший за этим с любопытством, теперь опять размахнулся. На этот раз мяч прыгнул довольно близко. Франц рванулся, поднял ракету, как топор, ударил, но ничего не случилось. Он оглянулся. Мяч был далеко. Мальчишка с сачком широко улыбался. Тогда, сохраняя на лице деревянное выражение, Франц попробовал в свою очередь перекинуть мяч, который каким-то образом оказался у него в руке. Трижды он размахивался, роняя на песок мяч и пытаясь его поддеть на прыжке, и трижды пустынно и неприятно просвистывала ракета, а мяч продолжал прыгать рядом. Но на четвертый раз он не промахнулся. Треснуло, отдалось в локте. Белая точка, описав высокую параболу, исчезла за крышей павильона.

Драйер тихо подошел к сетке и пальцем поманил Франца.

– Друг мой, – сказал он вкрадчиво, – мы не в лапту играем. Пойми.

Затем он так же тихо и грустно вернулся к своей черте, и все началось сначала.

Он мучил его долго; только один раз удалось Францу отдать мяч, но он никогда не узнал, куда этот мяч угодил. Изредка гакая, он метался туда и сюда, отбиваясь от невидимых врагов, спотыкаясь, неловко прыгая, и у Драйера все выше поднимались брови, все неудержимее вздрагивали усы. И Марта вдруг не вытерпела. Она крикнула со своего места:

– Да брось! Ты же видишь, что он не может...

Она хотела крикнуть «не может играть», – но какой-то ледяной ветер подкосил последнее слово. Франц остановился, сосредоточенно разглядывая струны. Драйер мелко затрепетал от смеха. Молодой человек в пестром свитере, хищно следивший за игрой, выступил вперед, поклонился, и Драйер, взмахом ракетки указав Францу, что он может уйти, радостно поздоровался с подошедшим, предчувствуя в нем сильного противника.

Франц медленно приблизился и сел рядом с Мартой. Его лицо было неподвижно и бледно и блестело от пота. Она улыбалась ему, но он не

глядел, вытирая очки. «Милый», – сказала она шепотом, стараясь поймать его взгляд; поймала; включила ток; он хмуро покачал головой, стиснув зубы.

– Все хорошо, – сказала она тихо. – Все хорошо, мой милый. Больше этого не будет... Слушай, – добавила она еще тише, лучистой своей силой удерживая его взгляд. – Слушай: я нашла... – взгляд его скользнул, но она опять твердо его схватила: – ...в столе нашла. Накануне ты просто его возьмешь. Понимаешь?..

Он моргнул.

– Постой, – сказала она. – Ты ведь простудишься. Ветер. Накинь что-нибудь.

– Не надо так громко, – шепнул Франц. – Пожалуйста...

Она усмехнулась и, оглянувшись, пожала плечом.

– Я должна тебе объяснить... Слушай, Франц... У меня есть совсем новый план. Такой, по-моему, естественный...

Она прищурилась, глядя на игравших. Драйер только что сделал хороший удар, – нежно срезал мяч у самой сетки и, исподлобья глянув на жену, порадовался, что она это видела.

– Знаешь что, – зашептала Марта. – Мы пойдем отсюда. Я должна тебе объяснить.

Драйер промахнулся и, качая головой, вернулся на свою линию. Марта подозвала его, сказала, что голова болит нестерпимо (это было действительно так) и чтобы он не опаздывал к обеду. Драйер кивнул и продолжал игру.

Таксомотора они поблизости не нашли. Пошли пешком, через парк, потом вдоль небольшого озера. По дороге она стала объяснять.

Основа была простая, невинная: изучение английского языка. Случалось изредка, что он просил ее что-нибудь подиктовать. Она диктовала, хотя произносила еще хуже, чем он. Он писал в тетрадке. Потом сам сверял с текстом. И вот, на такой диктовке все и будет основано. Нужно взять какой-нибудь Таухниц и в нем найти подходящую фразу, вроде: «Я иначе поступить не мог» или «Я умираю, смерть единственный выход...» Остальное ясно. Вечером, когда ты тоже будешь, мы и устроим диктовку. Я выберу и продиктую такую вот фразу. Только, конечно, не в тетрадке он должен писать, а на чистом листе, на почтовой бумаге. Тетрадка уже уничтожена. Как только он напишет, но еще головы не подымет, ты подойдешь справа совсем близко, как будто хочешь посмотреть, вынешь и очень осторожно...

Еще в феврале синешекий изобретатель создал первый образец. Это был только грубый набросок, болванка, воплощение голого принципа, остов мечты. В большой пустынной комнате, где холодный электрический свет отливал лиловатым, как это бывает в ателье и лабораториях, произошло первое зачаточное представление. Изобретатель и Драйер стояли в углу комнаты и безмолвно смотрели. Посредине же, на освещенном полу, толстая фигурка, ростом в полтора фута, плотно закутанная в коричневое сукно, так что были видны только короткие, словно из красной резины, ноги в детских сапожках на пуговках, ходили взад и вперед механической, но очень естественной, поступью, поворачиваясь с легким скрипом на каждом десятом шагу. Драйер, сцепив руки на животе и улыбаясь исподлобья, в молчаливом умилении смотрел на нее, как смотрит чувствительный посетитель на ребенка, первыми шажками которого его угощает гордый, но на вид равнодушный отец. Впрочем, было заметно, что изобретатель взволнован: в такт движениям фигурки он слегка постукивал подошвой. «Боже мой!» – тонким голосом сказал вдруг Драйер, словно готов был прослезиться. Коричневая фигурка, похожая на ребенка, на которого сверху надели бы мешок, ступала, действительно, очень трогательно. Сукно было только для приличия. Потом изобретатель ее раскутал и обнажил механизм: гибкую систему суставов и мускулов и три маленьких, но тяжелых батареи. Самым замечательным в этом изобретении (и проступало это даже в первом грубом образце) были не столько электрические ганглии и ритмическая передача тока, – сколько легкая, чуть стилизованная, но почти человеческая, походка механического младенца. Тайна такого движения лежала в гибкости вещества, которым изобретатель заменил живые мускулы, живую плоть. Ноги первоначального младенца казались живыми не потому что он их переставлял, – ведь автоматический ходок не диковина, – а потому, что самый матерьял, оживленный током, находился в постоянной работе, переливался, натягивался или ослабевал, как будто и вправду были там и кожа, и мышцы. Ходил он мягко, без толчков, – вот в этом-то было чудо, и вот это особенно оценил Драйер, относившийся довольно равнодушно к технической тайне, открытой ему изобретателем.

Но младенец должен был вырасти. Следовало создать не только подобие человеческих ног, но и подобие человеческого тела, с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом. Изобретатель, однако, не был ни художником, ни анатомом. Драйер поэтому нашел ему двух помощников, – скульптора, чьи работы отличались особой легкостью, нежностью, слегка фантастической изящностью, и профессора анатомии, написавшего в свое время суховатый, но любопытный труд о самосознании мышц. Вскоре мастерская приобрела такой вид, будто в ней только что аккуратно нарезали дюжины две человеческих рук и ног, а в углу, с независимым выражением на лицах, столпилось несколько голов, на одной из которых кто-то раздавил окурочок. Анатом и скульптор помогали усердно. Один из них был долговязый, бледный, неряшливый, с орлиным взглядом, длинными, откинутыми назад волосами и большущим кадыком; другой – солидный, седой, в очках, в высоком крахмальном воротнике. Их внешность служила для Драйера источником

непрестанного наслаждения, ибо тот, с шевелюрой, был профессор, а этот, в строгих очках, – скульптор.

Но забавляло его и другое. Он уже мог представить себе довольно ясно, как, в костюмах напоказ, за витриной, будут ходить туда и сюда искусственные манекены. Это было прелестное видение. Кроме того, дело было прибыльное. Уже в мае он дешево купил у изобретателя право на патент и теперь решал про себя, что лучше сделать: оживить движущимися фигурами магазин или же продать изобретение иностранному синдикату: первое было веселее, второе – выгоднее.

Как бывает в жизни у многих коммерсантов, он стал чувствовать в эту весну, что, в сущности говоря, его дела приобретают какую-то самостоятельную жизнь, что его деньги, находившиеся в постоянном, плодотворном вращении, движутся по инерции и движутся быстро, и что он, пожалуй, теряет власть над ними, не может по желанию остановить это золотое, огромное колесо. Его крупное состояние, которое он создал в год причудливых удач, – в такую, именно, пору, когда случайно нужны были легкость, счастье, воображение, – теперь уже стало слишком живым, слишком подвижным. Всегда настроенный бодро, он надеялся, что это лишь временная утрата власти, – и ни на миг не полагал, что это вращение может постепенно превратиться в золотой призрак, и что, когда он остановит его, то увидит – оно исчезло. Но Марта, теперь еще пуще прежнего ненавидя прихотливую легкость мужа (хоть ей-то он и был обязан своим случайным богатством), нестерпимо боялась, что он догарцует до катастрофы раньше, чем она навсегда его отстранит, и сама остановит кружение.

Магазин работал хорошо, но прибыль не оседала. Совершенно внезапно улетело у него в сквозняке биржи тысяч восемьдесят. Он проводил их с улыбкой; оставалось немало таких тысконок. Но Марта почуяла в этом роковое предостережение. Она была бы готова дать ему отсрочку на выгодное дело, она сама признавалась, что, несмотря ни на что, «верит его нюху» в некоторых случаях; но нужно было действовать безотлагательно, когда всякий лишний месяц мог значить новое уменьшение богатства.

В тот солнечный, мучительный день, как только она и Франц вернулись с тенниса в синеватый холодок особняка, она сразу повела его в кабинет, чтобы показать ему револьвер. С порога она указала ему быстрым взглядом и едва уловимым движением плеча письменный стол в глубине. Там, в ящике, лежало орудие их счастья. «Вот ты его сейчас увидишь», – шепнула Марта и двинулась к столу. Но в это время размахистым и легким ходом вошел в комнату Том. «Убери собаку, – сказал Франц. – Я ничего не могу делать, пока тут собака». Марта резко крикнула: «Уходи, Том... Хуш!» Том прижал уши, вытянул нежную серую морду и зашел за кресло. «Убери», – сказал Франц сквозь зубы, и его всего передернуло. Марта хлопнула в ладоши. Том скользнул под кресло и вынырнул с другой стороны. Она взмахнула рукой. Том вовремя отпрыгнул и, обиженно облизнувшись, затрусил к двери. На пороге он обернулся, подняв переднюю лапу, но Марта шла на него. Он покорился неизбежному. Марта захлопнула дверь. Услужливый сквозняк тотчас стукнул рамой окна. «Ну, теперь скорей, – сказала она сердито. – Что ты там забился в угол? Поди сюда».

Она быстро выдернула ящик. Рыжий портфель. Портфель она приподняла. В глубине лежал черный предмет. Франц машинально протянул руку, взял, повертел.

– Это браунинг, – сказал он вяло, – без барабана. Браунинг.

Он поднял голову. Марта вдруг сухо усмехнулась и отошла.

– Положи назад, – сказала она, глядя в окно. Все стало так ясно: Вилли смеялся, он ведь смеялся, когда тот ему показывал.

– Я тебе говорю – положи назад. Ты же отлично видишь, что это зажигалка для сигар.

– В виде браунинга, – сказал Франц и как можно беззвучнее задвинул ящик.

И в тот день Марта кое-что поняла. До сих пор ей казалось, что она действует так обдуманно, так рассудительно, – как действовала всю жизнь. Не деловитый расчет, а фантазия. Та фантазия, которая так всегда была ей ненавистна. Пустая трата времени. Черт знает что. Заскок. Самоуверенность новичка. Уже однажды случилось нечто подобное. Был этот жених с вонючей белкой в руках, из которого она, по молодости лет, думала сделать дюжинного, солидного, послушного мужа. Через месяц, в скучнейшем норвежском городке, она убедилась, что ничего не выйдет. Семь лет холодной борьбы. Ей нужен был тихий муж. Ей нужен был муж обмертвелый. Через семь лет она поняла, что ей просто нужен мертвый муж. Но нельзя так по-дурацки браться за это дело. Если нет опыта, то по крайней мере нужна известная трезвость, разборчивость. А вместо того...

Было несколько дней, когда она вся как-то сжалась, отвердела, как человек, который спохватился бы, что невольно ошибался, и теперь удаляется в пустыню, чтобы набраться сил, очиститься, подтянуть душу, – и снова вернуться к своему делу, – и уже не ошибаться по-старому. Она поняла, что ее спасение – в простоте строгости, обычаичности; искомый способ должен быть совершенно естественным и чистым. Посредников просят не беспокоиться. Отрава – сводня, пистолет – маклер. Оба могут подвести. Это оборотни случая.

Франц молча кивал. Комнатка была полна солнца. Он сидел на подоконнике. Рамы были раскинуты и укреплены деревяшками. Роскошные белые облака, грудью вперед, быстро и мощно плыли, наискось, по синеве, уже по-летнему темной. Солнце облепляло правильными искрами чешую зеленой черепичной крыши напротив. Где-то густо грохотал грузовик.

Стало жарко спине. Он сполз с подоконника. Марта, туго скрестив ноги, сидела боком у стола. Ее освещенное солнцем, гладкое лицо казалось шире, оттого что она кулаком уткнулась в подбородок. Углы ее влажных губ были опущены, глаза глядели вверх. В сознании у Франца кто-то совершенно посторонний мельком отметил, что она сейчас похожа на жабу. Но она двинула головой, – все стало опять душно,

темно и неотразимо.

... – Удавить, – пробормотала она. – Если б можно было просто удавить... Голыми руками.

Ей казалось иногда, что сердце у нее лопнет, не выдержав чувства ненависти, которое ей внушало каждое движение, каждый звук Драйера. Бывало, когда он, ночью, гладил ее по обнаженной руке, неуверенно посмеиваясь, ей до тошноты, до обморока, хотелось вцепиться ему в шею и сжимать, сжимать изо всех сил. Она понимала, как трудно мыслить логически, разворачивать простые и плавные планы, когда все в ней кричит и бушует. А что-нибудь нужно было сделать, – Драйер перед ней чудовищно разрастался, как пожар. Но оказывалось, что человеческую жизнь, как пожар, тушить опасно и трудно. И, так недавно решив, что надобно действовать просто, отбросить обманчивые игрушки вроде яда, который найдет экспертиза, вроде револьвера, который годен только, чтобы закурить сигару, она вскоре заметалась еще пуще, как человек, увидевший, что горит занавеска, вот-вот займется вся комната, запылает постель, – и уже лестница полна дыма, ступени исчезают, не выбраться...

Большой, загорелый от тенниса, в ярко-желтой пижаме, с раскрытой грудью, где густо вились золотистые волосы, пышущий теплом и здоровьем, издающий те разнообразные крякающие, ухающие звуки, которые издает мужчина, когда встал с постели раньше обыкновенного, – Драйер заполнял всю спальню, весь дом, весь мир.

От его торжествующего присутствия она все чаще спасалась к Францу, приходила даже в те часы, когда он еще был на службе и, штопая носок, сурово сдвинув брови, ждала его прихода с уверенной и законной нежностью. Прожить дольше одного дня без его покорных губ и близоруких прикосновений она не могла. То мгновение в их свиданиях, когда нежная молния вздрагивала вдруг в самой глубине ее существа, было необходимостью безусловной. Когда она, еще ощущая удаляющиеся полыхания, размякшая, вздыхающая, открывала глаза, ей было странно, что Драйер еще жив. Она вскоре пыталась вновь завлечь сонного Франца, и, добившись этого, она снова воображала, что по мере того, как блаженство близится, Драйер гибнет, что каждый торопливый удар ранит его еще глубже, и что наконец он слабеет, валится, растворяется в нестерпимом блеске ее счастья.

Но, как ни в чем не бывало, он оживал, шумно проходил по всем комнатам и, веселый, голодный, сидел против нее за ужином, складывал, пронзал вилкой пласт ветчины и жевал, вращая желтыми усами.

– Помоги же мне, Франц, помоги, – бормотала она иногда, хватая его за руки, скользя пальцами по его груди, тряся его за плечи.

Его глаза за стеклами очков были совершенно покорны. Но придумать он не мог ничего. Его воображение было ей подвластно: оно готово было работать на нее, но толчок должна была дать она. Внешне он очень изменился за эти последние месяцы, потощал, побледнел; душа в нем осипла; какая-то слабость была во всех его движениях, – как будто он

существовал только потому, что существовать принято, но делал это нехотя, был бы рад всякую минуту вернуться в сонное оцепенение. Ход его дня был машинальный. Утренний толчок будильника был как монета, падающая в автомат. Он вставал; вяло умывался; шел к станции подземной дороги; садился в некурящий вагон; читал все тот же рекламный стишок в простенке, под ритм этого грубого хороя доезжал до нужной остановки; поднимался по каменным ступеням; щурился от солнца, от ряби анютиных глазок на огромной клумбе; пересекал улицу; в магазине он делал все, что полагается делать приказчику. Вернувшись тем же путем домой, он обычно находил у себя Марту и, опять-таки, делал все, что от него требовалось. В продолжение получаса, после ее ухода, он читал газету, – потому что газеты читать принято. Потом он отправлялся к Драйеру ужинать. За ужином он иногда рассказывал, что читал в газете, повторяя некоторые фразы слово в слово и странно путая факты. Около одиннадцати он уходил. Пешком добирался домой всегда по тем же панелям. Через четверть часа он уже раздевался. Потухал свет. Автомат останавливался, чтобы через восемь часов опять прийти в действие.

В мыслях его была та же однообразность, как и в движениях, – и порядок их соответствовал порядку его дня. «Тупой клинок; порезался. Нынче девятое, нет, десятое, нет, одиннадцатое июня. Поезд на две минуты опоздал. Есть дураки, которые дамам уступают место. Чисти зубы нашей пастой, улыбаться будешь часто. Чисти зубы нашей пастой. Чисти зубы – Предпоследняя остановка. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь – Приехали...»

И, как за словами, написанными на стекле, за этими ровными мыслями была черная тьма, тьма, в которую не следовало вникать. Но бывали странные просветы. Ему показалось однажды, что полицейский чиновник с портфелем под мышкой, сидящий рядом, смотрит на него подозрительно. В письмах матери были как будто инсинуации: она утверждала, например, что в его письмах к ней он пропускает буквы, не дописывает слов, путает. А то, – в магазине желтое тюленеподобное лицо резинового человека, предназначенного для развлечения купальщиков, показалось ему похожим на лицо Драйера, и он был рад, когда его унесли. Со странной тоской он вдруг вспоминал школу в родном городке, почуя запах цветущей липы. Ему померещилось как-то, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью, в красном платье, которая побежала через улицу со связкой ключей в руке, он узнал дочку швейцара, примеченную им некогда, много веков тому назад. Все это были только мимолетные вспышки сознания; он тотчас возвращался в машинальное полубытие.

Зато ночью, во сне, что-то в нем прорывалось. Вместе с Мартой они отпиливали голову Пифке, хотя, во-первых, он был весь в морщинах, а во-вторых, назывался – на языке снов – Драйер. В этих снах ужас, бессилие, отвращение сочетались с каким-то потусторонним чувством, которое знают, быть может, те, кто только что умер, или те, кто сошел с ума, разгадав смысл сущего. Так, в одном из его сновидений, Драйер медленно заводил граммофон, и Франц знал, что сейчас граммофон гаркнет слово, которое все объяснит и после которого жить невозможно. И граммофон напевал знакомую песенку о каком-то негре и любви негра, но по лицу Драйера Франц вдруг замечал, что тут обман,

что его хитро надувают, что в песенке скрыто именно то слово, которое слышать нельзя, – и он с криком просыпался, и долго не мог понять, что это за бледный квадрат в отдалении, и только когда бледный квадрат становился просто окном в его темной комнате, сердцебиение проходило, и он со вздохом опускал голову на подушку. И внезапно Марта, с ужасным лицом, бледным, блестящим, широкоскулым, со старческой дряблостью складок у дрожащих губ, вбегала, хватала его за кисть, тащила его на какой-то балкон, высоко висящий над улицей, и там, на мостовой, стоял полицейский и что-то держал перед собой, и медленно рос, и дорос до балкона и, держа газету в руках, громким голосом прочел Францу смертный приговор.

Он в аптеке купил каплеу против нервозности и одну ночь, действительно, проспал слепо, а потом все пошло сначала, хуже прежнего.

Его коллега по отделу, белокурый атлет, как-то заметил его бледность и посоветовал купаться по воскресеньям в озере, жариться на солнце. Но ледяная лень тяготела над Францем, а вдобавок: досужий час значил час с Мартой. Она же принимала его бледность за тот пронзительный недуг, которым сама болела, за белый жар неотвязной мысли. Ее радовало, когда, иногда в присутствии Драйера, Франц, встретив ее взгляд, начинал сжимать и разжимать руки, ломать спички, тереть что-нибудь на столе. Ей казалось тогда, что ее лучи пронзают его насквозь, и что колени она его острым лучом в ту напряженно сжатую частицу его души, где таится сдержанный образ убийства, эта частица взорвется, пружина соскочит, и он мгновенно ринется. Зато ее раздражало, когда не ею, не ее взглядом и словом, бывал потрясен Франц. Она пожимала плечами, слушая его бормотание:

– Пойми же, он сумасшедший, – повторял Франц. – Я знаю, что он сумасшедший...

– Пустяки. Не сумасшедший, а просто так, с бзиком. Это нам даже выгодно. Перестань, пожалуйста, дергаться.

– Но это ужасно, – настаивал Франц, – ужасно жить в квартире, где хозяин душевнобольной. Вот почтальон тоже подтверждает. Я не могу...

– Перестань же. Он совсем тихий. У него больная жена...

Франц тряс головой.

– ...Ее никогда не видно... мне это не нравится. Ах, это все так неприятно...

– Глупый! Это нам выгодно. Никто за нами не следит, не вынюхивает. Мне кажется, что нам очень повезло в этом смысле.

– Бог знает, что у них происходит в комнате, – вздохнул Франц. – Такой там бывает странный шум, не то смех, не то... Я не знаю, – вроде... кудахтанья...

– Ну, довольно, – тихим голосом сказала Марта.

Он замолчал, опустив одно плечо ниже другого.

– Милый, милый, – заговорила она уныло и бурно. – Разве это все важно? Разве ты не чувствуешь, что дни идут, – а мы все мечемся, не знаем, что предпринять. Ведь этак мы себя доведем до того, что в один прекрасный день просто набросимся, разорвем, растопчем... нельзя так тянуть. Надо что-нибудь придумать. И знаешь... – Она понизила голос почти до шепота. – ...Знаешь, он последнее время такой живой, невозможно живой...

Она была права. Жизнь в Драйере так и пылала. Так действовали на него запах цветущих лип, солнце, игра в теннис, сложный круговорот дел. Кроме того, у него было увлечение. До поры до времени он решил скрыть это увлечение от жены, хотя, правда, раза три намекал на какое-то особое, необыкновенное дело. Но и то сказать: как бы он объяснил ей, чем увлекся? Невозможно. Сочла бы за пустую прихоть. Пожилой Пигмалион и дюжина электрических Галатей. Они уже оживали, оживали... Жена бы сказала: «Занимаешься чепухой». Да, – но какая чудесная чепуха... Он улыбнулся, подумав, что и у нее, небось, свои причуды. Перед тем как лечь спать, например, розовая вода и лед. И не только уход за лицом, но и всякие упражнения, уроки ритмической гимнастики, – чуть ли не каждый день. Он улыбнулся опять и тростью простучал по частоколу. Шел он по солнечной стороне улицы. Его спутник – чернявенький изобретатель – все намекал, что недурно бы перейти на теневую панель. Но Драйер не слушал. Если ему приятно солнце, то другим оно должно быть приятно тоже. «Еще довольно далеко, – вздохнул его спутник, – вы непременно хотите пешком?» – «С вашего разрешения», – рассеянно поклонился Драйер и малость ускорил шаг. Он теперь думал о том, как весело жить, как все любопытно в жизни. Вот сейчас, например, ведут его смотреть на что-то весьма занятное. Останови он прохожего и спроси: «А угадай-ка, милый, на что я иду смотреть и почему должен пойти», – никогда бы не ответил прохожий. Мало того: все эти люди на улице, снующие мимо, ожидающие на трамвайных остановках – какое собрание тайн, поразительных профессий, невероятных воспоминаний. Вот этот, например, в котелке, с моноклем – быть может, он помнит какую-нибудь фантастическую ночь, спортивный холодок, отбитый у англичан окоп, где на углах переходов еще остались смешные надписи: Пикадилли, Бонд-стрит, Кингскросс. А не то, – яблочный запах удушливого газа, хлюпающую грязь и грохот в небе. Но почему чужого человека наделять собственным своим воспоминанием? Можно ведь предположить и всякое другое, – что прохожий этот завтра едет в Китай, или что он знаменитый сыщик, или акробат, или мастер на лыжах прыгать, или написал замечательную книгу. Ничего не известно, и все возможно.

– Направо, – сказал его спутник, тяжело дыша. – Вон тот дом – со статуями.

Это был криминальный музей, кунсткамера беззаконий, при здании главного суда. У одного почтенного бюргера, ни с того, ни с сего растерзавшего дитя соседа, нашли, среди прочих тайных курьезов, искусственную женщину. Эта женщина была теперь в музее. Изобретатель, движимый профессиональной тревогой, желал на нее

посмотреть. Женщина, однако, оказалась сделанной грубовато, а таинственный состав, о котором говорилось в газетах, был просто гуттаперчей. Правда, она умела закрывать стеклянные глаза, нагревалась изнутри, волосы были настоящие, – но в общем, – чепуха, ничего нового, – вульгарная кукла. Изобретатель тотчас ушел, но Драйер, всегда боявшийся упустить что-нибудь любопытное, принялся обходить все залы музея. Он осмотрел лица бесчисленных преступников, увеличенные снимки ушей, ладоней, нечистоплотные отпечатки, кухонные ножи, веревки, какие-то выцветшие лоскутки одежд, пыльные склянки, – тысячу мелких обиходных предметов, незаслуженно обиженных, – и опять – ряды снимков, лица невымытых, плохо одетых убийц – одутловатые лица их жертв, ставших после смерти похожими на них же, – и все это было так убого, так скучно, так глупо, – что Драйер вдруг улыбнулся. Он думал о том, каким нужно быть нудным, бездарным человеком, тупым однодумом или дураком-истериком, чтобы попасть в эту коллекцию. Мертвенная серость экспонатов, налет пошлого преступления на предмете мещанской обстановки, ни за что, ни про что обиженный столик, на котором нашли отпечаток грязного пальца, – банка из-под варенья, тоже как-то замешанная, ржавые гайки, пуговицы, жестяной таз, – все это, в представлении Драйера, выражало самую сущность преступления. Сколько эти глупцы пропускают! Пропускают не только все чудеса ежедневной жизни, простое удовольствие существования, – но даже вот такие мгновения, как сейчас, способность с любопытством отнестись к тому, что само по себе – скучно. И, обыкновенно, все кончается судом, каторгой, казнью. На рассвете, в автомобиле, едут заспанные, бледные люди в цилиндрах – представители города, помощники бургомистра. Холодно, туманно, пять часов утра. Каким, вероятно, ослом себя чувствуешь – в цилиндре в пять часов утра! Ослом стоишь в тюремном дворе. И приводят осужденного. Помощники палача тихо его уговаривают: «не кричать... не кричать...» Потом публике показывают отрубленную голову. Что должен делать человек в цилиндре, когда смотрит на эту голову, – соболезнующе ей кивнуть, или укоризненно нахмуриться, или ободряюще улыбнуться: видишь, мол, как это все было просто и быстро... Драйер поймал себя на мысли, что все-таки любопытно было бы проснуться раным-рано и, после основательного бритья да сытного обеда, выйти в полосатой тюремной пижаме на холодный двор, похлопать солидного палача по животу, приветливо помахать на прощание всем собравшимся, поглазеть на побелевшие лица магистратуры... Да, лица неприятные. Вот, например, какой-то молодчик, зарубивший отца и мать: ушастый, невымытый. Вот небритый господин, оставивший на вокзале сундук с трупом невесты. И еще какие-то тупорылые. И еще. А вот и головорубка, – доска, деревянный ошейник – все честь честью. А рядом – американский стул. Зубной врач в маске. Пациенту тоже – маску на лицо, с дырками для глаз. Штанину на голени разрезают, чтобы приложить провод. Пускают ток. Прыгаешь, хоп-хоп, как на ухабах. Жилы на кистях лопаются, изо рта, из ушей клубы пара. Какие дураки! Коллекция дурацких физиономий и замученных вещей.

На улице было солнечно, дул пыльный ветер, подошвы прохожих оставляли на асфальте серебряные следы. Прекрасен, лазурен и душист город жарким летом. Недурно тоже в лесу или на море. Облака сияющие, каникульные. Рабочие лениво чинят мостовую... Хорошо! И ему вдруг показалось забавным искать на лицах этих рабочих, этих прохожих те черты, которые он только что видел на бесчисленных фотографиях. И

вот удивительно: он в каждом встречном узнавал преступника, бывшего, настоящего или будущего, – и вскоре так увлекся этой игрой, что для каждого начал придумывать особое преступление. Он долго наблюдал за сутулым человеком с подозрительным чемоданом и наконец подошел к нему и, вынув папиросу, попросил огонька. Человек стряхнул пепел, дал ему закурить. Драйер заметил, что дрожит эта рука, и пожалел, что, вот, не может легонько отогнуть ворот пиджака и показать значок сыщика. Лицо за лицом скользило мимо, мелькали неверные глаза и в каждом взгляде была возможность убийства. Так он шел, вращая тростью, как пропеллером, необыкновенно развлекаясь, улыбаясь невольно чужим людям и с удовольствием отмечая их мимолетное смущение. Но потом игра ему наскучила, он почувствовал голод и ускорил шаг. Подходя к калитке, он заметил в саду жену и племянника. Они неподвижно сидели у стола под полотняным зонтиком и смотрели, как он приближается. И он почувствовал приятное облегчение, увидев, наконец, два совершенно человеческих, совершенно знакомых лица.

## XI

– Прошу вас, сударыня, – сказал Вилли Грюн, – не надо! Вы уже дважды исподтишка посмотрели на часы, а потом – на мужа... Право, – не поздно...

– ...И возьмите еще земляники, – сказала госпожа Грюн, нежная, тонкобровая, как говорится – «стильная», – и сверкнула текучими серьгами.

– Придется посидеть, моя душа, – обратился Драйер к жене: – Я все еще не вспомнил.

– Верю, – сказал Вилли, пыхтя и расплываясь в кресле, – верю, что анекдот – мастерской. Но его, по-видимому, нельзя вспомнить.

– ...Или, например, ликера? – сказала госпожа Грюн.

Драйер постучал себя по лбу кулаком: «Начало – есть, средняя часть – тоже, но конец, конец!..»

– Бросьте, – сказал Вилли, – а то вашей супруге станет еще скучнее. Она суровая. Я ее боюсь.

– ...Завтра, в это время, мы уже будем по пути в Париж, – плавно разбежалась госпожа Грюн, но муж ее перебил:

– Она везет меня в Париж! Не город, а шампанское, – но у меня от него всегда изжога. Однако я еду. Кстати: – вы так до сих пор и не удосужились мне ответить, куда вы собираетесь этим летом? Знаете, был случай: вспоминал человек анекдот – и вдруг лопнул.

– Мне не то обидно, что я не могу вспомнить, – жалобно протянул Драйер, – мне обидно, что я вспомню, как только расстанемся... Мы еще не решили. Не правда ли, моя душа, мы еще не решили? Мы даже и не говорили об этом вовсе. Там была какая-то завыка в конце – такая забавная...

– Я говорю вам, – бросьте, – пыхтел Вилли. – И как это вы еще не решили? Уже конец июня. Пора.

– Я думаю, – сказал Драйер, вопросительно взглянув на жену, – что мы поедem к морю.

– Вода, – кивнул Вилли. – Вода. Это хорошо. Я бы тоже с удовольствием. Но тащусь в Париж. Плаваете?

– Какое... – мрачно ответил Драйер, – учился и не научился. Вот и на лыжах тоже – как-то все так, – размаха нет, легкости. Душа моя, а ведь правда, мы поедem к морю? Франца с собой возьмем, Тома. Побарахтаемcя, загорим...

И Марта улыбнулась. Она не сразу поняла, откуда потянуло такой ясной, влажной прохладой. Ей представился длинный пляж, где они как-то раз уже побывали, белый мол, полосатые будки, тысяча полосатых будок... они редеют, обрываются, а дальше, верст на десять, пустая белизна песка вдоль сияющей, серовато-синей воды.

– Мы поедem к морю, – сказала она, обернувшись к Вилли.

Она оживилась необыкновенно. Губы полуоткрылись, две серповидных ямочки появились на потеплевших щеках. Волнуясь, она стала рассказывать госпоже Грюн о летних своих платьях, о том, что солнечный загар теперь в большой моде... Драйер смотрел на нее и радовался. Она никогда не сияла так, когда бывала в гостях, – особенно в гостях у Грюн.

По дороге домой, в таксомоторе, он ее поцеловал.

– Оставь, – сказала она. – Нам нужно серьезно поговорить. Ведь правда, – это хорошая мысль. Ты, вот, завтра утром напиши туда, закажи комнаты. В той же гостинице. Франца мы возьмем, пожалуй, – но собаку оставим, – с ней только возня. Хорошо бы поскорей, – а то комнат не будет...

Но ее торопливость была теперь легкая. Кругом волны, сияние... грудь дышит так легко... на душе так ясно. Одно слово «вода» все разрешило. В ключе к сложнейшей задаче нас поражает прежде всего именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных, искусственных попыток. По этой простоте Марта и узнала разгадку. Вода. Ясность. Счастье. Она ощутила живейшее желание сию же минуту повидать Франца, сказать ему одно, все объясняющее слово, телеграфный шифр их жизни. Но сейчас была полночь, таксомотор, Драйер, стоп, ливень, калитка, стоп, передняя, лестница, спальня, стоп – сейчас было невозможно его увидеть! А

завтра – воскресенье. Вот тебе на! – Она не предупредила, что утром у него не будет, так как Драйер играть в теннис не пойдет, – слишком сыро. Но даже эта отсрочка, которая в иное время привела бы ее в бешенство, теперь показалась ей пустяшной неприятностью, – столь покойно, столь плавно двигалась ее уверенная мысль.

На другое утро она проснулась поздно, и первым ее чувством было: вчера случилось что-то прекрасное. На террасе Драйер, допив свой кофе, читал газету. Когда она появилась, – сияющая, в бледно-зеленом жоржетовом платье, он привстал и поцеловал ее прохладную руку, как всегда делал при воскресной утренней встрече. Ослепительно горела на солнце серебряная сахарница. Потом она медленно потухла. Вспыхнула снова.

– Неужели площадки не высохли? – сказала Марта.

– Три дня шел ливень, – ответил он, продолжая двигать глазами по строкам газеты. – И сегодня – погода неверная. В Египте нашли в гробнице игрушки и розы, – им три тысячи лет...

– Ты написал насчет комнат? – Он закивал, не поднимая глаз, и продолжал кивать по инерции, все тише.

Кивай... кивай... это теперь не имеет значения. Франц отлично плавает, – это тебе не теннис. Он родился на большой реке. Она тоже родилась на большой реке, – может держаться на воде часами... навзничь, бывало, лежит, вода колышет, хорошо, прохладно... И эти мысли скользили с какой-то изящной плавностью, без толчков, без усилия. Не выдумывать надобно было, а только проявлять то, что уже наметилось.

Он шумно сложил газету и сказал:

– Выйдем, погуляем... А? Как ты полагаешь?

– Иди один, – ответила она. – Мне нужно кой-какие письма написать.

Он подумал: а что если ее попросить, нежно попросить? Сегодня свободное утро. В кои-то веки раз...

Но как-то так вышло, что он не сказал ничего. Через минуту Марта с террасы увидела, как он, с макинтошем на руке, открывает калитку, пропускает вперед Тома, как даму, удаляется, закуривая на ходу.

Некоторое время она сидела совершенно неподвижно. Горела и потухала сахарница. Вдруг на скатерти появилось сизое пятнышко, расплылось, – потом рядом другое, третье; капля упала ей на руку; она встала, глядя вверх. Горничная стала поспешно убирать посуду, скатерть, тоже поглядывая на небо. Марта ушла в дом. Где-то звякнуло окно. Горничная, уже вся мокрая, держа скатерть в охапке, смеясь и бормоча, метнулась с террасы на кухню. Марта стояла посреди потемневшей гостиной, приглаживая виски и улыбаясь. Она подождала еще несколько минут. Все кругом журчало, шелестело, дышало. Она подумала, не предупредить ли сперва по телефону, – но нетерпение ее было так живо, что возиться с телефоном показалось лишней тратой

времени. Она быстро пошла в переднюю, надела, шурша, резиновое пальто, схватила зонтик. Фрида принесла ей из спальни шляпу и сумку. «Обождали бы, – сказала Фрида, – очень сильный дождь». Она рассмеялась, сказала, что идет на почту. Дождь забарабанил по тугому шелку зонтика. Хлопнула калитка, обрызгав руку. Она быстро пошла по зеркальной панели, спеша к стоянке таксомоторов. И вдруг что-то случилось. Солнце с размаху ударило по длинным струям дождя, скосило их, – струи стали сразу тонкими, золотыми, беззвучными. Снова и снова размахивалось солнце, – и разбитый дождь уже летал отдельными огненными каплями, лиловой синевой отливал асфальт, – и стало вдруг так светло и жарко, что Драйер на ходу скинул макинтош, а Том, несколько потемневший от дождя, сразу оживился и, подняв хвост трубой, пошел походом на рыжую таксу. Том и такса, оба желавшие друг дружку понюхать под хвост, довольно долго вращались на одном месте, пока Драйер не свистнул. Шел он медленно, поглядывая по сторонам, так как попал в довольно интересные места, где бывал редко, хотя это находилось недалеко от дома. Кое-где строилась вилла, или высилось новое огромное здание, словно составленное из тех розовых, ладных кубов, из которых дети строят дома. А кругом блестели на мокром солнце зеленые участки, аккуратные огородики, где там и сям круглилась телесного цвета тыква. Потом начался опять кусок города – постарше, да посерее, – и вдруг из какой-то пивной, вытирая ладонью рот, вышел Франц.

– Неожиданный случай, – воскликнул Драйер, держа племянника за пуговицу. – Так, так... Вот оно что. Случай. Ты что тут делаешь? Пьянствуешь?

Франц вяло ухмыльнулся. Они пошли рядом. Глубоко сияли лужи.

Им почти никогда не приходилось быть вдвоем, беседовать с глазу на глаз. Драйер теперь почувствовал, что им ровно не о чем говорить. Это было странное чувство. Он попробовал его уяснить себе. Да, действительно, – он всегда видел Франца у себя в доме, за ужином, в присутствии Марты, – и Франц естественно подходил к обычной обстановке, занимал давно отведенное ему место, – и Драйер с ним не говорил иначе, как шутливо-небрежно, – не думая о том, что говорит, принимая Франца как бы на веру среди прочих, знакомых предметов и людей. Тайную свою застенчивость, неумение говорить с людьми по душам, просто и серьезно, Драйер знал превосходно. Сейчас его и пугало и смешило молчание, которое наступило между ним и Францем. Он не имел ни малейшего понятия, как это молчание прервать. Он кашлянул и искоса посмотрел на Франца. Франц шел, глядя себе под ноги. Он был, вероятно, подвыпивши.

– Я тут живу поблизости, – сказал Франц, и сделал неопределенное движение рукой. Драйер на него смотрел. «Пусть смотрит, – думал Франц. – Все бессмысленно в жизни, – и эта прогулка тоже бессмысленна. Но только все-таки лучше, чтоб говорилось что-нибудь, – все равно что...»

– Так, так, – сказал Драйер. – Ты вот, кстати, мне и покажешь свою обитель. Очень интересно.

Франц кивнул. Молчание. Погодя, он указал рукой направо, – и оба невольно ускорили шаг, – чтобы дойти до поворота, чтобы сделать хоть одно не совсем бесцельное движение: – повернуть направо. Том молчал тоже. Он не очень любил Франца.

«Однако, – усмехнулся про себя Драйер, – что за чепуха! Нужно ему что-нибудь рассказать».

Он подумал, не рассказать ли ему об электрических манекенах; тема, точно, была занимательная. Целую неделю изобретатель просил его не заходить в мастерскую, – хотел, мол, устроить сюрприз, – а на днях, со скромной гордостью, – позвал. Скульптор, похожий на ученого, и профессор, похожий на художника, казались тоже чрезвычайно довольными собой. И немудрено. Изобретатель раздвинул за шнур черный занавес; и из боковой двери слева вышел бледный мужчина в смокинге, прошел, с той особенной нежной медлительностью, которой отличается походка лунатиков или движение людей в задержанном кинематографе, – и ушел в боковую дверь направо. За ним следом прошли: бронзоватый юноша в белом, с ракеткой в руке, и представительный господин, в отлично сшитом сером костюме, с портфелем под мышкой. Едва последний успел уйти в дверь направо, как уже слева опять вышел бледный мужчина в смокинге – а затем опять, – теннисист, делец с портфелем, опять смокинг – и так далее, без конца. Ах, как они прелестно двигались!.. Так медленно и все же машисто, гибко и все же чуть стилизованно... лица были сделаны удивительно, – мягкие на вид, с живым переливом на щеках. И потом изобретатель что-то такое там сделал, – и уже фигуры стали проходить иначе, – навстречу друг другу, причем через раз мужчина в смокинге останавливался посередине, делал осторожное движение ногами, как будто показывал танцевальный прием, и потом, медленно округлив руку, словно вел невидимую даму, поворачивался и медленно уходил.

Но как рассказать Францу об этом? В шуточном виде – выйдет неинтересно, а если – серьезно, то он пожалуй не поверит, достаточно он ловил его на таких штучках. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль: ведь Франц еще не знает, что его везут к морю, нужно его порадовать. Одновременно он вспомнил конец анекдота, игру слов, которую никак не мог вспомнить накануне. Сперва, однако, он ему рассказал насчет моря, приберегая анекдот к концу. Франц пробормотал, что он очень благодарен. Драйер объяснил ему, что купить для поездки. Франц опять благодарил. В общем, ему было совершенно все равно, ехать или не ехать. Все бессмысленно, страшно и темно. Они подходили к дому. Драйер решил, что расскажет анекдот уже в комнате Франца. Это была гибельная отсрочка: он его не рассказал никогда. Они подходили к дому все ближе. «Вот», – сказал Франц и указал пальцем на одно из верхних окон. «Ну войдем, войдем», – сказал Драйер и пропустил Тома вперед. Они стали подниматься по лестнице, где ковер, как растительность на горах, обрывался на известной высоте. Они поднимались долго. За это время Марта успела доштопать последнюю дырку в одном из белых носков Франца. Она сидела на ветхой кушетке и, склоняясь над штопкой, надувала губы. Ждала она Франца уже четверть часа, по крайней мере. Хозяин сказал, что он сейчас вернется, хотя на самом деле старичок даже не знал, дома ли Франц, или нет. Марта встала, чтобы сложить носки в ящик. Она уже

была в тех красных ночных туфельках, которые некогда ей подарил Франц. И вдруг она прислушалась, затаив дыхание. «Пришел», – подумала она и блаженно вздохнула. В коридоре, по линолеуму, внезапно пробежали семенящие нечеловеческие шажки и превратились в отрывистый лай. «Тише, Том, – сказал знакомый, веселый голос, – ты не у себя». – «Прямо, – и вторая дверь направо», – сказал голос Франца. Марта кинулась к двери, чтобы повернуть ключ в замке. Ключ был с другой стороны. «Сюда?» – спросил Драйер оглушительно близким голосом. Тогда она всем телом уперлась в дверь, держа ручку. Ручка туго двинулась. Она прижалась крепче. Дверь дрогнула. Том снизу фыркнул в щель. Дверь дрогнула опять. Марта поскользнулась, и одна пятка вышла из красной туфельки. Она снова уперлась. «В чем дело? – сказал голос Драйера, – у тебя дверь не открывается». Ручка поднялась. Потом опять туго опустилась, несмотря на усилия Марты. Это, очевидно, Франц взялся за дело. Том вдруг радостно залаял. Франц изо всех сил нажал на дверь. «Дурак», – холодно подумала Марта, – и опять заскользила. Красная туфелька соскочила с ноги и отъехала. Дверь приоткрылась на дюйм. Она грянула плечом, нажала. Франц бормотал: «Ничего не понимаю... Это, может быть, мой хозяин шутит...» Том фыркнул и лаял. Драйер посмеивался и советовал вызвать полицию. Марта почувствовала, что уже больше не может держать дверь.

Вдруг – молчание и тонкий, сиплый голосок: «Там, кажется, – ваша маленькая подруга...»

Драйер обернулся. Взъерошенный, бровастый старичок с чайником в руке стоял в конце коридора. Марта услышала взрыв хохота, хохот стал удаляться, «Очень хорошо, очень хорошо, – стонал Драйер, уже стоя в передней. – Вот мы, значит, – какие... очень хорошо...» Он подмигнул, ткнул Франца в живот и вышел. Том стремглав понесся вниз по лестнице. Франц, пошатываясь, с одеревенелым лицом, вернулся по коридору, открыл уже полегчавшую дверь. Марта, розовая, слегка растрепанная, тяжело дышащая, без одной туфли, как будто после драки, стояла, опираясь о спинку кресла.

Она бурно обняла Франца; сияя и смеясь, стала целовать его в губы, в нос, в стекла очков, усадила его на постель, рядом с собой, почему-то дала ему выпить воды, – и когда он, наконец, вяло покачнувшись, упал головой к ней на колени, стала гладить его по волосам и тихо, неторопливо объяснять единственную, сияющую разгадку.

Домой она вернулась до прихода мужа и потом, насмешливо щурясь на собаку, пожаловалась ему, что вымокла по дороге на почту, испортила новые туфли.

– Ну и история, – сказал он, сделав круглые глаза, – наш-то Франц... представь себе только... – Он долго смеялся и качал головой, пока не рассказал ей, в чем дело. Образ его долговязого, довольно мрачного племянника, обнимающего миловидную, млеющую приказчицу, был несказанно смешон. Почему-то он вспомнил Франца, в лиловатых подштанниках прыгавшего на одной ноге, – и ему стало еще веселее.

В первый же раз, как Франц пришел ужинать, он начал тонко издеваться над ним. Франц давно обмертвел, – только поворачивал туда-сюда лицо,

как будто получая по щекам невидимые удары. Марта пристально смотрела на мужа.

– Мой дорогой Франц, – говорил Драйер проникновенным голосом. – Может быть, тебе сейчас не хочется уезжать из города? Ты скажи прямо. Я ведь твой друг, я все пойму и прощу...

А не то, он обращался к жене и небрежно рассказывал: «Я, знаешь, нанял сыщика. Он должен следить за тем, чтобы мои приказчики вели аскетическую жизнь, а главное... – Вдруг он прижимал ладонь ко рту, как человек, который сказал лишнее, искоса смотрел на Франца, – и, кашлянув, говорил нарочито успокоительным тоном: – Я, конечно, пошутил. Ты понимаешь, Франц, я пошутил...»

До отъезда оставалось всего несколько дней. Марта была так счастлива, так спокойна, что ничто уже не могло ее волновать. Изогранные насмешки Драйера должны были скоро кончиться – как и все прочее, – его взгляд, походка, жаркий запах. Только одно, – то, что дирекция гостиницы, пользуясь каникулярным наплывом, запросила за две комнаты сумму колоссальную, бесстыдную, – только это одно еще могло ее раздражать. Она пожалела, что отстранение Драйера обойдется так дорого, – особенно теперь, когда нужно было беречь каждый грош: того и гляди, он успеет за эти несколько дней погубить все свое состояние. Некоторые основания для таких опасений были. Огромный дом, который Драйер купил для переселения туда магазина, – вдруг оказался ему негодным – надобно было многое перестроить, усовершенствовать, – и уже ему расхотелось расширять магазин; и так хорошо, только лишняя возня. Невыгодно купленный дом торчал в представлении у Драйера как что-то большое, сконфуженное и совершенно ненужное. Некоторые его акции нервничали. Банковская контора, принадлежавшая ему второй год, работала недурно, – но он перестал к ней чувствовать доверие. Марта не могла добиться от него подробностей, но чувствовала неладное, и вместе с тем ее как-то странно удовлетворяло, что именно теперь, когда ему придется исчезнуть, Драйер как будто утратил ту живость коммерческого воображения, ту дерзкую предприимчивость, благодаря которым он разбогател.

Она не знала, что в эти дни Драйер потихоньку начал любопытное дело с искусственными манекенами. Изобретение можно было продать за хорошие деньги – только бы очаровать покупателя. Должен был в скором времени приехать некий американец. «Продать и – баста, – думал Драйер. – Хорошо бы продать и весь магазин...»

Он втайне сознавал, что коммерсант он случайный, ненастоящий, и что в сущности говоря, он в торговых делах ищет то же самое, – то летучее, обольстительное, разноцветное нечто, что мог бы он найти во всякой отрасли жизни. Часто ему рисовалась жизнь, полная приключений и путешествий, яхта, складная палатка, пробковый шлем, Китай, Египет, экспресс, пожирающий тысячу километров без передышки, вилла на Ривьере для Марты, а для него музеи, развалины, дружба со знаменитым путешественником, охота в тропической чаще. Что он видел до сих пор? Так мало, – Лондон, Норвегию, несколько среднеевропейских курортов... Есть столько книг, которых он не может

даже вообразить. Его покойный отец, скромный портной, тоже мечтал бывало, – но отец был бедняк. Странно, что вот деньги есть, а мечта остается мечтой. И иногда Драйер думал, что если с таким волнением он воспринимает всякую мелочь жизни, которой сейчас живет, то что же было бы там, в сиянии преувеличенного солнца, среди баснословной природы?.. Вот даже этот обычный летний отъезд слегка его волновал, хоть он уже побывал на том пестреньком пляже.

Марта готовилась к отъезду плавно, строго и блаженно. Прижимая к себе Франца, она шептала, что уже недолго ждать, что мучиться он не должен. Она последила за тем, чтобы у него все было для морского курорта, – черный купальный костюм, купальные туфли, полосатый халат, синие очки, две пары фланелевых штанов, запас платков, носков, полотенец. Драйер приобрел огромный резиновый мяч и плавательные пузыри. Марта накупила множество легких, светлых вещей, – без особого, впрочем, усердия, так как знала, что скоро придется ей носить траур. Накануне отъезда она с волнением осмотрела все комнаты в доме, мебель, посуду, картины, – говоря себе, что вот, через совсем короткое время, она вернется сюда свободной и счастливой. И в этот день Франц показал ей письмо, только что полученное им от матери. Мать писала, что Эмми выходит замуж через год. «Через год, – улыбнулась Марта, – через год, мой милый, будет и другая свадьба. Ну, ободрись, не смотри в одну точку. Все хорошо».

Последний раз они встречались в этой убогой комнатке, у которой уже был вид настороженный, неестественный, как это всегда бывает, когда комната, особенно – маленькая, расстаётся со своим жильцом навсегда. Красные туфельки, довольно уже потрепанные, Марта унесла к себе домой и спрятала в сундук. Скатеречки и подушки некуда было девать, и, скрепя сердце, Марта посоветовала подарить их хозяину. Комнатка принимала все более натянутое выражение, как будто чувствовала, что о ней говорят. Голая женщина на олеографии последний раз надевала шелковый свой чулок, узоры обоев, капустообразные розы, правильно чередуясь, доходили с трех сторон до двери, – но дальше расти было некуда, уйти из комнаты они не могли, как не могут выбраться из тесного круга смертные, прекрасно согласованные, но на плен обреченные мысли. Появились в углу два чемодана, один получше, совсем новый, другой похуже, происхождения нестоличного, но тоже – свеженький. Все, что было в комнате живого, личного, человеческого, ушло в эти два чемодана, которые завтра спозаранку уедут, неведомо куда.

Вечером Франц не пошел ужинать. Он запер на ключ чемоданы, открыл окно и сел с ногами на подоконник. Как-нибудь нужно было пережить этот вечер, эту ночь. Лучше всего не двигаться, стараться не думать ни о чем, слушать дальние рожки автомобилей, глядеть на линиящую синеву неба, на дальний балкон, где горит лампа под красным абажуром и, склонясь над освещенным столом, двое играют в шахматы. Что будет завтра, послезавтра, через три, четыре, пять дней, – Франц вообразить не мог. Холодный блеск, и больше ничего. Он знал, что против этого блеска идти нельзя. Будет так, как она сказала. Панический трепет, как зарница, прошел в его мыслях. Может быть, еще не поздно – написать матери, чтобы она приехала, чтобы увезла его... Что это было в воскресенье? ах, да – судьба чуть-чуть не спасла...

Написать, или заболеть внезапно, – или, вот, немножко нагнуться вперед, потерять равновесие и кинуться навстречу жадно подскочившей панели... Но зарница потухла. Будет так, как она сказала.

Весь скорченный, без пиджака, в потемневших очках, он сидел, обняв колени, на подоконнике, не двигаясь, не поворачивая головы, не меняя положение ляжек, хоть больно впивался порог рамы, и голову облетал уныло поющий комар. В комнате было уже совсем темно, но он света не зажигал. Там, на балконе, давно кончилась шахматная партия. Окна погасли. Погодя ему стало холодно, и он медленно перебрался на кровать. В одиннадцать старичок-хозяин беззвучно прошел по коридору. Он прислушался, посмотрел на дверь Франца и потом пошел назад к себе. Он отлично знал, что никакого Франца за дверью нет, что Франца он создал легким взмахом воображения, – но все же нужно было шутку довести до конца, – проверить, спит ли его случайный вымысел, не жжет ли он по ночам электричество. Этот долговязый вымысел в черепаховых очках уже порядком ему надоел, пора его уничтожить, сменить новым. Одним мановением мысли он это и устроил. Да будет это последнюю ночью вымышленного жильца. Он положил для этого, что завтра первое число, – и ему самому показалось, что все вполне естественно: жилец будто бы сам захотел съехать, уже все заплатил, все честь честью. Так, изобретая нужный конец, Менетекелфарес присочинил к нему все то, что должно было, в прошлом, к этому концу привести. Ибо он отлично знал, что весь мир – собственный его фокус, и что все эти люди – Франц, подруга Франца, шумный господин с собакой и даже его же, фаресова, жена, тихая старушка в наколке (а для посвященных – мужчина, пожилой его сожитель, учитель математики, умерший семь лет тому), – все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук. Да и сам он в любую минуту может превратиться – в сороконожку, в турчанку, в кушетку... Такой уж был он превосходный фокусник, – Менетекелфарес...

Грянул будильник. Франц, с криком защищая руками голову, спрыгнул с постели, кинулся к двери и тут остановился, дрожа, близоруко озираясь и понимая уже, что ничего особенного не случилось, а просто – семь часов утра, дымчатое млеющее утро, воробный галдеж, через полтора часа уходит поезд...

Был он почему-то в дневном белье, в носках, отвратительно вспотел за ночь. Чистое белье уложено, – да и не стоит, не стоит менять. На умывальнике валялся тонкий, уже прозрачный кусочек фиалкового мыла. Он долго ногтем соскребал с него приставший волос, волос менял свой выгиб, но не хотел сходить. Под ноготь забилося мыло. Он стал мыть лицо. Волос пристал к щеке, потом к шее, потом вдруг защекотал губу. Накануне он сдуру уложил полотенце. Подумал и вытерся концом постельной простыни. Бриться не стоит, – это можно по приезде. Зарница ужаса мелькнула, дрожью прошла по спине. И опять стало душно и глухо. Щетка уложена, но есть карманный гребешок. Волосы в перхоти, лезут. Он стал застегивать пуговики смятой рубашки. Ничего, – сойдет. Но белье липло к телу, сводило с ума вкрадчивыми прикосновениями. Стараясь ничего не ощущать, он торопливо нацепил мягкий воротничок, сразу обхвативший шею, как холодный компресс. Зазубренный, плохо подпиленный ноготь зацепил за шелк галстука. Он похолодел и долго сосал палец. Штаны за ночь безобразно смялись, –

валялись у кровати на полу. Платяная щетка уложена, – и Бог с ней. Так сойдет. Последняя катастрофа случилась, когда он надевал башмаки: порвалась тесемка. Пришлось ее перетянуть, получилось два коротеньких конца, из которых было трудно сделать узел. Странное дело: вещи не любили Франца. Наконец, он был готов, посмотрел на будильник, – да, пора ехать на вокзал. Его тошнило. Почему ему не дали сегодня кофе? С вялой тоской, с глухим отвращением он оглядел стены; плюнул в ведро и попал мимо. Пришлось открыть один из чемоданов и сунуть туда будильник, завернутый в клочок газеты. Он надел макинтош, шляпу, содрогнулся, увидев себя в зеркале, подхватил чемоданы и, слегка пошатнувшись, стукнувшись о косяк двери, словно неловкий пассажир в скором поезде, вышел в коридор. В комнате осталось только немного грязной воды на дне таза.

В коридоре он остановился, пораженный неприятной мыслью: нужно было проститься с хозяином. Он опустил на пол чемоданы и, торопясь, постучался. Никакого ответа. Он толкнул дверь и вошел. Посреди комнаты, к нему спиной, на обычном своем месте сидела старушка, лица которой он не видал никогда. «Я уезжаю, я хотел проститься», – сказал он, подойдя к креслу. Вдруг он замер и, как смерть, побледнел. Никакой старушки не было: просто – седой паричок, надетый на палку, вязаный платок. Он с дрожью сбил всю эту махину на пол. Запорхала серая пыль. Из-за ширмы вышел старичок-хозяин. Он был совершенно голый и держал в руке бумажный веер. «Вы уже не существуете», – сказал он сухо и указал веером на дверь. Франц молча вышел. На лестнице у него закружилась голова, и он постоял некоторое время, опустив чемодан на ступень, вцепившись в перила. Наконец, дом раскрылся, выпустил его и стянулся опять.

## XII

На первом месте, конечно, было море, легкое, сизое, с размазанным горизонтом, а над ним – тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль. Затем, вогнутым полукругом шел пляж, с тесной толпой полосатых будок, особенно сгущенных там, где начинался мол, уходивший далеко в море. Иногда одна из будок наклонялась и переползала на другое место, как красно-белый скарабей. Вдоль пляжа шла высокая каменная набережная, обсаженная со стороны пляжа акациями, на черных стволах которых после дождя оживали налипшие улитки, вытягивали из круглого завоя чуткие прозрачно-желтые рожки. Вдоль набережной белели фасады гостиниц. Комната четы Драйер выходила балконом на море. Комната Франца выходила на улицу, шедшую параллельно набережной. Дальше, по другой стороне улицы, тянулись гостиницы второго сорта, дальше – опять параллельная улица и гостиницы третьего сорта. Пять-шесть таких улиц, и чем дальше от моря, тем дешевле, – словно море – сцена, а ряды домов – ряды в театре, кресла, стулья, а там уж и стоячие места. Названия гостиниц так или иначе пытались намекать на присутствие моря. Некоторые это

делали с самодовольной откровенностью. Другие предпочитали метафоры, символы. Попадались женские имена. Одна была вилла, которая называлась почему-то «Гельвеция», – ирония или заблуждение. Чем дальше от пляжа, тем названия становились поэтичнее.

Все это очень его развлекало. Оставив жену и племянника на террасе кафе, он ходил по лавкам, разглядывал открытки. Они были все те же. Больше всего доставалось человеческой тучности. Облую громаду в полосатом трико ущипнул краб, и обладательница громады млеет, полагая, что это рука соседа – щуплого щеголя в канотье. Плышет толстяк на спине, и куполом вздымается над водой пунцовое пузо. Накрахмаленный усач смотрит из-за скалы на гиперболу в купальном костюме. Та же гипербола в других положениях, поцелуй на закате, полушария, выдавленные в песке, «привет с моря»... Но особенно его забавляли и трогали открытки фотографические. Они были сняты Бог знает как давно. Тот же пляж, те же корзины; но дамы в плечистых блузах, в длинных юбках бутылкой, мужчины, как парикмахерские рекламы... Эти расфуфыренные ребятишки теперь купцы, инженеры, чиновники...

Лавки обвевал морской ветерок. Смесь морского воздуха и антикварной дряни: рамочки из раковин и перламутра, рогатые раковины, барометры и мундштуки, ракушки в розовых кисейных мешочках, картины, картины, – творения местных маринистов, маслянистый столб луны или сахарный парус среди прусской синьки. И ни с того, ни с сего Драйеру стало грустно.

По пляжу, пробираясь меж крепостных валов, окружавших каждую будку, куда-то спеша, чтобы этой поспешностью доказать ходкость товара, шел со своим аппаратом нищий фотограф и орал, надрываясь: «Вот грядет художник, вот грядет художник Божией милостью!»

На пороге лавки, где почему-то продавались только китайские изделия, шелка, вазы, чашки – и кому все это нужно на берегу моря? – стоял день-деньской незагоревший человек и, глядя на гуляющих, тщетно ждал покупателя.

В кафе Марте дали не то пирожное, которое она заказала, и Марта взбесилась, долго звала метавшегося лакея, – и пирожное (прекрасный шоколадный эклер) лежало на тарелке, одинокое, ненужное, незаслуженно обиженное.

Всего только четыре дня были они здесь, – а уже несколько раз Драйер чувствовал этот нежный наплыв грусти. Правда, это бывало с ним и раньше («Чувствительность эгоиста, – говорила когда-то Эрика: – ты можешь не заметить, что мне грустно, ты можешь обидеть, унижить, – а вот тебя трогают пустяки...»), но теперь случалось это как-то по-особенному. Солнце, что ли, так разнежило его, или он, может быть, стареет, что-то уходит, чем-то сам он похож на фотографа, чьих услуг никто не хочет...

В ночь с четвертого на пятое он дурно спал. Накануне солнце, под видом нежности, так растерзало ему спину, что, пожалуй, несколько дней нельзя будет ходить в купальном костюме. Они играли в мяч, стоя

по бедра в воде, – он, Марта, Франц, еще двое молодых людей, один – танцмейстер, другой – студент, сын меховщика. Танцмейстер мячом сбил Францу синие очки, – очень все смеялись, очки чуть не утонули.

Потом Франц и Марта поплыли, – далеко, далеко, – он стоял и смотрел с пляжа, а рядом какая-то незнакомая старушка в одном нижнем белье ужасно почему-то волновалась. Надо непременно научиться плавать. Вот пройдет спина, и нужно будет начать серьезно. Здорово жжет. Никак не ляжешь удобно.

Он попробовал заставить себя уснуть, но как только он закрывал глаза, он видел воронку, которую они выкопали, чтобы будка стояла уютно, напряженную волосатую ногу Франца, копавшего рядом, потом невозможно-яркую страницу книги, которую он пытался читать, лежа на солнце... Ах, как горит спина! Марта сказала: «Завтра пройдет... непременно... навсегда...» Да, конечно, – кожа окрепнет. Завтра утром нужно выиграть пари. Глупое пари. Марта таких вещей не понимает. Конечно, если он пойдет лесом, то дойдет скорее, чем они доедут на лодке. Лесом километра два... Лодка должна описать полукруг... Одним словом, завтра это будет доказано.

Чтобы уснуть, он вообразил этот длинный, длинный буковый лес вдоль полосы длинного пустого пляжа, – лес тянется, пляж тянется, далеко сзади осталась кучка будок, дома исчезли за лукой, лес тянется, тянется пустой пляж...

Он вздохнул и повернулся на другой бок. Теперь он видел темную голову Марты, холм ее перины. Только что мысли были такие занятные, – и вот – волна грусти. Ведь только протянуть руку, и тронешь ее волосы. А нельзя. Есть деньги, а путешествовать нельзя. Ждут его, не дождутся – в Китае, Италии, Америке. Скоро должен приехать американец. Любопытно, понравятся ли ему куклы? Говорят, довольно неаккуратный господин. Нет, завтра нельзя будет купаться, – ох, спина, спина... прямо пожар. Хорошо будет в лесу. Не спутать место, где тропинка сворачивает к пляжу, – к этой пресловутой скале. Полчаса ходьбы, – максимум. Не пошел бы завтра дождь. Барометр падает, падает...

Когда он, наконец, начал храпеть, Марта приподнялась на локте, посмотрела на окно – не светает ли. Там, за окном, стоял ровный, легкий, непрерывный шум, как будто где-то далеко наполнялась ванна. Она откинулась опять на подушку и, лежа навзничь, стала смотреть на потолок, выжидая появления первой бледной полосы рассвета. Она подумала о том, спит ли Франц, может ли он спать в эту ночь.

Погодя, она осторожно взяла со стола часы и посмотрела на фосфористые стрелки и цифры, – скелет времени. Еще долго...

В должный час Франц зашевелился. Ему было сказано встать ровно в половине восьмого. Было ровно половина восьмого. «К обеду все уже будет кончено», – подумал он машинально, – и не мог себе представить ни обеда, ни последующего дня, – как не может человек представить себе вечность.

Скрипя зубами, он натянул холодный, непросохший за ночь купальный костюм. Карманы халата были полны песку. Он побил ладонь о ладонь и, тихонько прикрыв за собой дверь, пошел по длинным белым коридорам. В носках парусиновых туфель тоже был песок: тупая мягкость.

Марта и Драйер уже сидели на своем балконе, пили кофе. День был бессолнечный, белесое небо, серое море, барашки, невеселый ветерок. Марта налила Францу кофе. Она тоже была в халате поверх купального костюма. По мохнатой синеве халата вились оранжевые узоры. Она придерживала свободной рукой широкий рукав, когда протянула Францу чашку.

Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося вслух смешную фамилию. Он был в синем пиджаке и серых фланелевых штанах. Он надел было светлый, нежный, почти белый галстук, уникум, – но Марта сказала, что, пожалуй, пойдет дождь, галстук испортится, поэтому он надел другой – попроще, потемнее. В таких мелочах Марта обычно бывала права.

Драйер выпил две чашки кофе и съел булочку с медом. Марта выпила три чашки и ничего не съела. Франц выпил полчашки и тоже не съел ничего. По балкону гулял ветер.

– По–ро–кхов–штши–коф, – вслух прочел Драйер и рассмеялся.

– Если ты кончил, пойдём, – сказала Марта, запахивая халат и стараясь не стучать зубами, – а то еще польет дождь.

– Рано, душа моя, – протянул он и покосился на тарелку с булочками.

– Пойдем, – повторила Марта и встала. Франц встал тоже.

Драйер посмотрел на часы.

– Я все равно обгону вас, – сказал он, лукаво подняв одну бровь. – Вы оба идите вперед. Я вам дам четверть часика. Не жалко.

– Ладно, – сказала Марта.

– Посмотрим, чья возьмет, – сказал Драйер.

– Посмотрим, – сказала Марта.

– ...Ваши весла или мои ножки, – сказал Драйер.

– Пусти, – я не могу выйти, – резко воскликнула она, толкаясь коленом и продолжая запахиваться.

Драйер отодвинул свой стул. Она прошла.

– К тому же у Франца живот болит, – сказал Драйер.

Франц, не глядя на него, покачал головой. В очках, в пестром халате, он смутно походил на японца.

– Эх ты, – японец, – сказал Драйер и принялся за вторую булочку.

Хлопнула стеклянная дверь. Тишина. Жуя и обсасывая медом запачканный палец, он поглядел на бледное огромное море. С балкона был виден кусок пляжа, неопрятно, не совсем прямо стоявшие будки. Лодки нанимаются где-то в стороне, – поправее... не видать отсюда. Было холодно, неинтересно без солнца. Но это не могло ослабить приятное чувство, которое он испытывал при мысли о том, что жена согласилась с ним поиграть и не отказалась в последнюю минуту – из-за дурной погоды, как он втайне боялся.

Он опять посмотрел на часы. Вчера и третьего дня как раз в это время звонила контора. Нынче, пожалуй, опять позвонит. Бог с ней. Не стоит ждать.

Он крепко вытер губы, стряхнул крошки с колен и прошел к себе в номер. Перед зеркалом он остановился, вынул серебряную щеточку, провел ею вправо и влево по усам. Облупилась кожа на носу. Некрасиво. Стук в дверь.

Конторе все-таки удалось его поймать. Драйер поторопился к телефону. Поговорив, он заторопился опять. Того и гляди они в своей лодочке доплывут до скалы первые.

На набережной еще было пустовато. Двое-трое таких же энергичных купальщиков, как его жена и племянник, спешили к пляжу. Но его-то не тянуло купаться... Ни в каком случае... Холодно, тучи, море, как чешуя. Мимоходом он заметил вдали лодку. Он напряг зрение и ему показалось, что он различает халаты Марты и Франца. Он ускорил шаг, изредка поглядывая на беленькую, словно неподвижную лодку. Потом свернул в боковую улочку, ведущую в лес.

Франц греб, то угрюмо склоняя лицо, то в размахе отчаяния глядя в небо. Марта сидела у руля. До того, как нанять лодку, она на минуту влезла в воду, чтобы согреться. Промах. Мокрый костюм прилип к груди, к бедрам, к спине, зябли ноги, – но Марта была слишком взволнована и счастлива, чтобы обращать внимание на такие глупости. Населенная будками часть пляжа медленно удалялась. Лодка стала обходить широкий загиб берега. Тяжело скрипели уключины.

– Ты все запомнил, милый?

Забирая веслами, наклоняясь вперед, Франц кивнул – и опять стал валиться навзничь, туго отталкивая воду.

– ...Когда я скажу, только когда я скажу, – помнишь?

Опять угрюмый наклон.

– Ты будешь сидеть на носу, – помнишь?

Скрипнули уключины, волна подняла лодку, Франц поклонился. Он старался не смотреть на нее, – но глядел ли он на бурое дно лодки,

вдоль которого лежала вторая пара весел, – или запрокидывал лицо, – все равно он ощущал Марту всем своим существом, – видел, и не глядя, ее синий резиновый чепчик, большое голое лицо, широкий халат. И знал он в точности, как это все будет, – как Марта скажет пароль, как оба гребца встанут... лодка качается... разминуться трудненько... осторожно... еще шаг... близость... шаткость.

– ...Ты помнишь: всем телом, сразу... – сказала Марта, и он медленно наклонился.

Ветер прохватывал суровой сыростью. У Марты на голых ногах мелко пупырилась кожа. Она пристально глядела на берег, на бесконечную бледную полосу пляжа, отыскивая то место, – около остроконечной скалы, – где они должны были пристать... Увидела. Натянула левую веревку руля.

Франц, с беззвучным стоном откидываясь назад, услышал вдруг, как Марта хрипло засмеялась, прочистила горло и засмеялась опять. Волна подняла лодку, брызнули весла, он согнулся, напрягся, капли пота, несмотря на морской холод, стекали у него по вискам. Марта, – по воле волны, поднималась и опускалась, дрожащая, большеглазая, на голых ногах мелкие волоски стояли дыбом.

Она смотрела на крохотную темную фигурку, которая вдруг появилась на пустынной полосе пляжа.

– Поторопись, – сказала она, дрожа и оттягивая на груди и бедрах холодное прилипшее трико. – Поторопись. Он ждет.

Франц бросил весла, медленно снял очки, медленно вытер стекла об полу халата.

– Я тебе говорю, поторопись! – крикнула она. – Франц! Слышишь?

Держа очки в руке, он посмотрел сквозь стекла на небо, медленно нацепил их и взялся опять за весла.

Темная фигурка стала яснее, появилось у нее лицо, как кукурузное зернышко. Марта двигала корпусом взад и вперед, не то повторяя движения Франца, не то подталкивая лодку.

Теперь уже ясно можно было различить синий пиджак, серые штаны. Он стоял расставив ноги, подбоченясь.

– Ничего не забудь, – уже шепотом сказала Марта. – Только, когда дам знак... помни...

Она мяла в руках веревки руля. Берег близился. Драйер глядел на них и улыбался. На ладони он держал плоские золотые часы. Он пришел на двенадцать минут раньше. На целых двенадцать минут.

– С приездом, – сказал он и сунул часы обратно в карман.

– Ты, вероятно, всю дорогу бежал, – сказала Марта, тяжело дыша и

озираясь.

– Как бы не так. Шел с прохладцей. Даже отдыхал по дороге.

Она продолжала озираться. Песок, дальше песчаный скат, обросший лесом. Ни души кругом.

– Садись в лодку, – сказала она. Лодка чуть вздрагивала от мелких набегающих волн. Франц вяло возился с веслами.

Драйер усмехнулся: – Я вернусь тем же путем. В лесу чудесно. Встретимся у нашей будки.

– Садись, – повторила она резко. – Ты немного погробешь. Ты разжирел.

– Право, душа моя, не хочется... – протянул он, глядя на нее бочком.

Марта рулевой веревкой хлопала себя по колену. Он закатил глаза, вздохнул и неуклюже, с опаской стал влезать в лодку. Лодка называлась «Морская сказка».

Франц вставил в уключины вторую пару весел.

Драйер скинул пиджак. Лодка тронулась.

И сразу волнение Марты прошло. Она почувствовала блаженный покой. Совершилось. Он в их власти. Пустынный пляж, пустынное море, туманно. На всякий случай нужно отъехать подальше от берега. В груди, в голове у нее была странная, прохладная пустота, как будто влажный ветер насквозь продул ее, вычистил снутри, мусора больше не осталось. Звенящий холод. И сквозь легкий звон она слышала беспечный голос:

– Ты все время влезаеть в мои весла, Франц, – нельзя так. Я понимаю, конечно, что мыслями ты далеко... Но все-таки нужно быть повнимательнее. Не могу же я оборачиваться. Вот опять! Ты в лад, в лад... Она тебя не забыла. Ты ей, надеюсь, оставил свой адрес? Раз, раз... Я уверен, что сегодня будет тебе письмо. Ритм, – соблюдай ритм!

Франц видел его крепкий затылок, желтые пряди волос, слегка распушенные ветром, белую рубашку, натягивавшуюся на спине... Но видел он это как сквозь сон...

– Ах, дети, – как было забавно в лесу! – говорил голос. – Буки, темнота, повилика. На дорожке такие черные голые улитки, с продольной резьбой. Прямо самопишущие ручки. Очень забавно. Соблюдай ритм.

Марта, полузакрыв глаза, глядела на его движущееся лицо, которое она видела в последний раз. Рядом с ней лежал его пиджак, в нем были часы, щеточка для усов, особая зубочистка, бумажник. Ей было приятно, что часы и бумажник не пропадут. В ту минуту она как-то не подумала, что придется конечно и пиджак сбросить в воду. Этот

довольно сложный вопрос возник только потом, когда главное уже было совершено. Сейчас ее мысли текли медленно, почти томно. Предвкушение счастья было сейчас восхитительно.

– Я, признаться, боялся, что гребля будет раздражать спину, – говорил голос. – Ты вот обещала, моя душа, что сегодня пройдет, – и правда, лучше. И грести можно. Рубашка почесывает, это приятно.

Они были теперь достаточно далеко от берега. Накрапывал дождь. На горизонте пушистым хвостиком склонялся дымок. Кругом лодки мелкие волны, журча, проливались и пенились.

– В сущности говоря, нынче мой последний день, – сказал Драйер.

Франц выслушал это совершенно равнодушно: уже ничто в мире не могло его потрясти. Но Марта взглянула на мужа с любопытством.

– Я должен завтра пораньше уехать в город, – пояснил он. – Мне только что звонили. Денька на три.

Дождь усиливался. Марта оглянулась на берег, потом посмотрела на Франца. Можно было начать.

– Послушай, Курт, – сказала она тихо, – мне хочется погрести. Ты перейди на место Франца, а Франц пускай сядет на руль.

– Нет уж погоди, моя душа, – сказал Драйер и попытался сделать так, как делал Франц, – повести весла плашмя по воде, на манер ласточки. – Я только что разошелся. Мы с Францем сыгрались. Прости, моя душа, – я тебя, кажется, обрызгал.

– Мне холодно, – сказала Марта. – Пожалуйста, встань и пусти меня.

– Еще пять минут, – сказал Драйер и опять попробовал скользнуть веслами, – и опять не вышло.

Марта пожала плечами. Ощущение власти было приятно; она готова была это ощущение продлить.

– Еще двадцать пять ударов, – сказала она с улыбкой. – Я буду считать.

– Брось, не мешай... Я скоро тебя пушу. Я ведь завтра уезжаю...

Ему стало вдруг обидно, что она не интересуется, почему ему нужно ехать. Наверное, думает, что просто так, – по обычным конторским делам.

– Любопытная комбинация, – сказал он небрежно, исподлобья глядя на жену. Она внимательно шевелила губами.

– Завтра, – сказал он, – я одним махом заработаю тысяч сто.

Марта, считавшая удары весел, подняла голову.

– Изобретение продаю. Вот какие дела мы делаем!

Франц вдруг оставил весла и стал вытирать очки.

Ему почему-то казалось, что Драйер разговаривает с ним, и, вытирая очки, он кивал, вяло ухмылялся. Однако слов он не слышал. Кроме того, Драйер сидел к нему спиной.

– Ты не думала, что я такой умный, а? – говорил Драйер, лукаво прищурясь на жену. – Одним махом, – подумай!

– Ты, вероятно, так, – шутишь, – сказала она, нахмурившись.

– Честное слово, – протянул он жалобно, – это удивительная штука. Прямо сенсация. Продаю американцам.

– Что это – какая-нибудь запонка или подвязки?..

– Тайна, – сказал он. – А с твоей стороны глупо не верить.

Она отвернулась, кусая запекшиеся губы, и долго глядела на горизонт, где по узкой светлой полосе свисала серая бахрома ливня.

– Ты говоришь – сто тысяч? Это наверное?

Он кивнул и налег на весла, почувствовав, что гребец сзади опять начал работать.

– А скажи, – спросила она, продолжая глядеть в сторону, – это не затянется? Эти сто тысяч будут у тебя через три дня, – не позже?

Он рассмеялся, не понимая, почему, ни с того ни с сего, она ему не верит.

– Будут, если продам, – сказал он, – а купят наверняка. Ручаюсь тебе. Нужно очаровать и ошарашить. Мы это умеем.

Дождь то переставал, то снова лил, – будто примеривался. Драйер, заметив, как далеко они отъехали, стал правым веслом поворачивать лодку; Франц машинально табанил левым. Марта сидела задумавшись, языком то ощупывая заднюю пломбу, то проводя по граням передних зубов. Погодя, Драйер предложил ей погрести. Она молча мотнула головой, скребя подошвой синей купальной туфли по мокрому дну лодки. Дождь пошел вовсю, Драйер сквозь шелк рубашки чувствовал его приятный холодок. Ему было хорошо, весело, он с каждым взмахом греб лучше, приближался берег, а вон там, за изгибом, – городок будок на пляже.

– Ты, значит, вернешься девятого? Это наверное? – спросила Марта, холодно глядя на его промокшую рубашку, сквозь которую, смотря по тому, какая часть прилипала к коже, проступали то здесь, то там телесного цвета пятна.

– Не позже девятого, – сказал он, с удовольствием откидываясь назад и снова взмахивая веслами.

Хлестал ливень. Халат Марты ожесточился. Ее облекаял плотный холод. Она об этом не думала. Она думала о том, правильно ли она поступает? Правильно. Ничего нет легче, чем повторить такую поездку. Изредка она взглядывала мимо мужа на Франца. Он, вероятно, удивлен. Только не показывает этого. Он устал. У него рот открыт. Бедный мой. Сейчас приедем, отдохнешь, выпьешь горячего...

Лодку они сдали на первой попавшейся пристани и, по вязкому песку, а потом по узким мосткам, поднялись на набережную, склоняя головы под хлещущим дождем. Усталая, не очень торопясь, она свалила с плеч набухший водой, потемневший халат, стянула песком облипшие туфли и затем со склизким шорохом стала вылезать из клейкого трико. Драйер, совершенно голый, желтый, красный, огромный, бурно топтался по комнате, подпрыгивая, побрякивая и мощно растирая горячее тело большим мохнатым полотенцем. Стараясь не видеть ужасных красных узоров на его лопатках, не вдыхать его ветра, она накинула пеньюар, с отвращением вымыла ноги, натянула неприятно хрустящие чулки, – и сразу так утомилась, что села на кушетку, сказав себе, что подождет, пока он оденется и уйдет, – тогда ей будет свободнее двигаться. Он ушел, но она все продолжала сидеть, не шевелясь, чувствуя странную сонливость и рассуждая сама с собой, сняла ли она то, что у нее было на голове – не шляпу, а вот такой купальный чепчик, – но не в силах была поднять к вискам руки. А на душе было странно хорошо, – так покойно. Правильно поступила. Иначе было бы неразумно, нерасчетливо. Потом она заметила, что вся дрожит и, нехотя встав, с перерывами, со странными интервалами томности, принялась одеваться.

Меж тем дождь не прекращался. Стекланный ящик (на набережной перед кургаузом), где стрелка отмечала по ролику фиолетовую кривую атмосферического давления, приобрел значение почти священное. К нему подходили, как к пророческому кристаллу. Но его нельзя было умиловить ни молитвой, ни стуком нетерпеливого пальца. На пляже кто-то забыл ведро и оно уже было полно дождевой воды. Приуныл фотограф, радовался ресторатор. Все же те лица можно было встретить то в одном, то в другом кафе. К вечеру дождь стал мельче. Драйер, затаив дыхание, делал карамболи. Пронеслась весть, что стрелка на один миллиметр поднялась. «Завтра будет солнце», – сказал кто-то и с чувством ударил в ладонь кулаком. Несмотря на дождевую прохладу, многие ужинали на балконах. Пришла вечерняя почта, – целое событие. Дождь нерешительно перестал. Под расплывающимися от сырости фонарями началось на набережной вечернее пошаркивание многих ног. В курзале были танцы.

Днем она прилегла, – думала, согреется, оживет, – но озноб был тут как тут. За ужином она съела пол-огурца, две вареных вишни, – и больше ничего. Теперь, в этом холодном оглушительном зале ей было как-то странно, – словно бальное платье не так сидит, сейчас расплывется. Она ощущала тугую, негреющий шелк чулок, полоску подвязки вдоль ляжки. Ей все казалось, что сзади, к голой спине, пристало конфетти, – а все-таки и ноги, и спина были какие-то чужие. Музыка ею не овладевала, как обычно, а чертила по поверхности

сознания угловатую линию, кривую озноба. При каждом движении головы от виска к виску, как кегельный шар, перекатывалась плотная боль. Направо от нее сидел молодой танцмейстер, все лето черной бабочкой летавший с курорта на курорт, налево – темноглазый студент, сын почтеннейшего меховщика, дальше – Франц, Драйер. Она слышала, как Марта Драйер что-то спрашивает, на что-то отвечает. Вкус ледяного шампанского все оставался как-то в стороне, – шипящие звездочки, которые только кололи чужой язык, не удовлетворяя ее жажды. Она незаметно взяла Марту Драйер за левую кисть, нащупывая пульс. Но пульс был не там, а где-то за ухом, а потом в шее, а потом в голове. Кругом, вырастая из рук танцующих, на длинных нитках колыхались синие, красные, глянцевитые шары, и в каждом была вся зала, и люстра, и столики, и она сама. Она заметила, что Марта тоже танцует, тоже держит шар. Ее кавалер, студент с индусскими глазами, отрывисто и тихо ей объяснялся в любви. Через какой-то неподвижный промежуток, во время которого ползли вверх колючие звезды шампанского, опять заколыхались шары, и ее кавалер, летучий танцмейстер, норовил, улыбаясь, коснуться щекой ее виска и одновременно ощупывал ее голую спину. Озноб собрался в одно место, стал пятипалым. Когда музыка замерла, он отнял руку. Озноб снова разлился по всему телу.

Опять она сидела за столиком, поводила плечами, говорила налево, говорила направо, перекатывалась круглая боль в голове. Ей показалось, что в очках у Франца плывут красные и синие пятна, и она решила, что это каким-то образом отражаются шары, колыхающиеся над столом. Драйер невыносимо смеялся, хлопая ладонью по столу и сильно откидываясь. Она протянула ногу под столом, нажала. Франц вздрогнул и встал, поклонился. Она положила руку к нему на плечо. Музыка на мгновение пробилась через туман, дошла до нее, окружила. Ей показалось, что все опять хорошо, оттого что это ведь – он, Франц, его руки, его ноги, его милые движения.

– Ближе, еще ближе, – забормотала она, – чтобы мне было тепло...

– Я устал, – сказал он тихо. – Я смертельно устал. Пожалуйста... не надо так...

Музыка встала на дыбы и рассыпалась. Она двинулась к столику. Кругом били в ладоши. Музыка воскресла. Мимо нее скользнул танцмейстер с ярко-желтой барышней. Индусские глаза студента мелькнули у ее лица, он кланялся, он приглашал. Она видела, как Марта Драйер прильнула к нему, зашагала, закружилась.

Драйер и Франц остались сидеть одни. Драйер отбивал пальцем такт, и глядел на танцующих, и слушал сильный голос певицы, нанятой дирекцией. Певица, небольшого роста, плотная, невеселая, надрываясь орала, приплясывая: «Монтевидэо, Монтевидэо, пускай не едет в тот край мой Лэо...», ее толкали танцующие, она без конца повторяла истошный припев, толстяк в смокинге, ее сожитель, шипел на нее, чтобы она выбрала что-нибудь другое, что никто не смеется, и с тоской Драйер вспоминал, что это «Монтевидэо» он слышал и вчера, и третьего дня, и опять странная грусть на него нахлынула, и он растерялся, когда вдруг певица осеклась и улыбнулась. Франц сидел рядом, облокотясь на стол, и тоже смотрел на танцующих. Был он

немного пьян, ломило в плечах от утренней гребли, было жарко, воротничок размяк. Его томила огромная, оглушительная тоска. Хотелось ему лбом упасть на стол и так остаться навеки. Он чувствовал что его мучат изощренно, безобразно мучат, выворачивают наизнанку, – и нет конца, нет конца... Такой тоски человек не выдерживает, что-то должно лопнуть, кости, наконец, хряснут.

Он словно сейчас очнулся, как больной – на операционном столе, и почувствовал, что его режут. Он посмотрел вокруг себя, теребя веревку шара, привязанного к бутылке, и увидел отражение в зеркале – затылок Драйера, кивавшего в такт музыки.

Он отвел глаза, запутался взглядом в ногах танцующих и с жадностью уцепился за сияющее синее платье. Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту чету, – они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив, – то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, что он значит. У дамы в синем был нежно-накрашенный рот, нежные, как будто близорукие глаза, и ее жених или муж, большелобый, с зализанами на висках, улыбался ей, и по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И Франц так позавидовал этой чете, что сразу его тоска еще пуще разрослась. Музыка остановилась. Они прошли мимо него. Они громко говорили. Они говорили на совершенно непонятном языке.

И опять – волна хлороформа, беспощадная близость Марты.

– Ваша тетя танцует, как богиня! – обратился к нему студент, садясь рядом.

– Я очень устал, – невпопад ответил он. – Я сегодня много греб. Гребной спорт очень полезен.

Драйер меж тем говорил, посмеиваясь:

– А мне можно тебя пригласить на один тур? Только разок. Обещаю тебе не наступать на ноги.

– Пойдем домой, – тихо сказала Марта. – Мне как-то нехорошо...

### XIII

Моргая спросонья, в желтой пижаме, расстегнутой на животе, Драйер вышел на балкон. Ослепительно искрилась мокрая листва. Море было молочно-синеватое, сплошь в играющих блестках. Пятна солнца дрожали на перилах балкона, на ступенях смешной лестницы, спускающейся в сад. На веревочке сох женин купальный костюм. Он вернулся в темную спальню, спеша одеться, чтобы ехать в столицу. Через три четверти

часа отходил автобус, который повезет его по деревенским дорогам к станции. В полутьме он пополоскался в резиновой ванне. На балконе, пристально глядя в сияющее зеркальце, поставленное на перила, с удовольствием побрился, чуть припудрил горящие щеки. Снова вернувшись в полутьму, он бодро оделся, вынул из шкапа городскую шляпу.

Из сумрака постели вдруг возник голос Марты. «Мы сейчас поедem кататься на лодке, – пробормотала она скороговоркой. – Ты встретишь нас у скалы, – поторопись... поторопись...»

Драйер, хлопая себя по бокам, проверяя, все ли он разложил по карманам, засмеялся:

– Проснись, моя душа. Я уезжаю в город.

Она что-то пробормотала еще, потом внятно сказала:

– Дай мне воды.

– Я спешу, – сказал он, – сама возьмешь. Пора тебе вставать, купаться. Погода райская.

Он склонился над туманной постелью, поцеловал ее в волосы и быстро вышел из спальни. До отхода автобуса нужно было еще успеть выпить кофе.

Кофе он пил на террасе кургауза. Съел две булочки с медом. Посмотрел на часы и съел третью. Уже мелькали пестрые купальные халаты, разгоралось море. Закуривая на ходу, он поспешил к площади, где уже грохотал автобус. Поехали.

Море осталось позади. Уже прыгали в воде, взмахивая голыми руками, купальщики. На всех балконах был нежный звон утренних завтраков. Франц, машинально захватив под мышку резиновый мяч, прошлепал по коридору, постучался в номер четы Драйер. Молчание. Он толкнул дверь. Шторы были спущены. Марта еще спала.

Он сообразил, что Драйер уже уехал. Нужно тихонько уйти. Пускай спит. Это хорошо. Можно спокойно полежать на пляже.

Туманная постель скрипнула; потом прозвучал тусклый голос:

– Дай мне, пожалуйста, воды, – с вялой настойчивостью проговорила Марта.

Он отыскал, в полутьме, на умывальнике графин, стакан, нечаянно облил себе пальцы, двинулся со стаканом к постели. Марта медленно приподнялась, выпростала голую руку, стала жадно всасывать воду.

– Франц, поди сюда, – позвала она все тем же невыразительным голосом.

Он сел к ней на постель, угрюмо предчувствуя, что сейчас постучится

горничная.

– Я, кажется, заболела, – задумчиво сказала она, не поднимая головы с подушки и устало лоя его руку. – Садись ближе. Знаешь, он вернется через три дня. У меня, должно быть, жар. И трудно дышать.

Уткнувшись в подушку, она одной рукой обхватила его за шею, потянула.

– Сейчас принесут кофе, – сказал Франц. – Вставай. Сегодня солнце, – а тут так темно.

Она заговорила опять:

– Пойди в аптеку, купи мне аспирина. Я еще немного полежу. И скажи там, чтобы увели Тома, – он все лает.

– Это не Том, это у соседей собака. Что с тобой?

– Пожалуйста, Франц... Я не могу встать. И накрой меня чем-нибудь.

Он пожал плечами и перетянул на нее перину с соседней постели.

– Я не знаю, где тут аптека, – сказал он нерешительно.

– Ты принес? – спросила она. – Что ты принес?

Он опять пожал плечами и вышел.

Аптеку он нашел без труда. Кроме трубочки аспириновых таблеток, он еще купил бритвенный клинок в конвертике. Идя назад к кургаузу, по солнечной набережной, он несколько раз останавливался, глядел вниз на пляж. Мимо него прошла уже знакомая ему чета. Оба были в халатах, шли быстро, громко говорили на неизвестном языке. Он заметил, что они на него взглянули и на мгновение умолкли. Потом, удаляясь, заговорили опять, и ему показалось, что они его обсуждают, – даже произносят его фамилию. Подул ветерок, сорвал бумажку с трубочки в его руке. Он ощутил странную неловкость, беспричинное чувство, что вот этот проклятый счастливый иностранец, спешащий к пляжу со своей загорелой, прелестной спутницей, знает про него решительно все, – быть может, насмешливо его жалеет, что вот, мол, юношу опутала, прилепила к себе стареющая женщина, – красивая, пожалуй, – а все-таки похожая на большую белую жабу. Он подумал, что беспечные люди на морском курорте всегда проницательны, глумливы, злоязычны. Ему стало стыдно, он почувствовал свою дрожащую наготу, едва прикрытую шарлатанским халатом; задумался, потряс головой и, брезгливо держа в руке стеклянную трубочку с таблетками, вернулся в гостиницу. Он даже не заметил, что потерял на набережной легкую бумажку, в которую трубочка была обернута; бумажка скользнула по набережной, легла, опять скользнула, обогнала чету, недавно замеченную Францем; потом ветерок отнес бумажку к скамейке у спуска на пляж. Там ее задумчиво пробил острием трости гревшийся на солнце старик. Что случилось с ней дальше – неизвестно: тем, кто спешил на пляж, некогда было за нею наблюдать. Песком опущенные мостки вели вниз к красно-белым

будкам. Тянуло поскорей к сияющим складкам моря. Мостки оборвались. Дальше надо было идти по рыхлому белому песку. Узнать свою будку легко, – и не только по цифре на ней; есть предметы, которые необыкновенно быстро привыкают к человеку, входят в его жизнь, просто и доверчиво. Неподалеку от этой будки была будка семейства Драйер; сейчас она пустовала; ни Драйера, ни жены его, ни племянника... Кругом нее был огромный песчаный вал. Чужой ребенок в красных трусиках лез по нему, и песок сбегал искристыми струйками. Госпожа Драйер была бы недовольна, что вот чужие дети лезут и портят. За валом, внутри, на песке вокруг будки, вчерашний дождь смешал следы босых ног. Невозможно уже было найти, например, крупный отпечаток Драйера или узкий, длиннопалый след Франца. Через некоторое время подошли танцмейстер и студент, увидели, что никого еще нет, удивились и двинулись дальше. «Милая, обаятельная женщина», – сказал один, а другой посмотрел через пляж на набережную, на полосу гостиниц, кивнул и ответил: «Они, должно быть, сейчас придут. Мы можем через десять минут вернуться». Но будка продолжала пустовать. Мелькнула белая бабочка в борьбе с ветром. Где-то далеко кричал фотограф. Люди входили в воду, двигали в ней ногами, как будто шли на лыжах. Потом – вспышка, фыркание, – поплыли.

И одновременно все эти морские образы – синие тени будок на песке, блеск воды, пестрые от песка и загара тела, – эти образы, собранные в один солнечный узор, уезжали со скоростью восьмидесяти километров в час, уютно поместившись в душе у Драйера, и тем настойчивее требовали к себе внимания, чем больше он сам, в длинном вагоне экспресса, отдалялся от моря. Приятное, волнующее предвкушение дела, ожидавшего его в городе, как-то опреснело при мысли о том, что вот, сейчас, пока он, превратившись уже в горожанина, сидит в поезде, – там, у моря, на горячем песке, – блаженство, отдохновение, свобода... И чем ближе подъезжал он к столице, тем привлекательнее казалось ему то синее, жаркое, живое, что он оставлял позади себя.

Не понравился ему американец, – совсем не понравился. Во-первых, он говорил по-английски так, что ничего нельзя было понять. Во-вторых, у него был тяжелый, золотой портсигар в виде двустворчатой раковины. В-третьих, он ни разу не улыбнулся. Был он маленького роста, прозрачно-бледный, с рыжей щетиной на голове и беспрестанно подтягивал кожаный пояс штанов.

Во время представления он молчал. В тишине был слышен мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: мужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под мышкой, – и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало скучно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, – сосредоточенное и приторное выражение, которое он видел уже много раз. Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и мягко сработаны, – и все-таки от них теперь веяло вялой скукой, – особенно юноша в белых штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна из них – в смокинге – смущенно замедлила шаг, устали и две другие, их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от усталости, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в

сером замер посреди сцены, – хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как будто прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих совсем. Изнеможение. Молчание.

И Драйер понял, что все, что могли дать эти фигуры, они уже дали, – что теперь они уже больше не нужны, лишены души, и прелести, и значения. Он им был смутно благодарен за то волшебное дело, которое они выполнили. Но теперь волшебство странным образом выдохлось. От их нежной сонности только претило. Затея надоела.

И равнодушно он выслушал все то, что стал говорить американец, перешедший вдруг на прескверный немецкий язык. Американец, рассеянно положив себе сахару в кофе и передав сахарницу Драйеру, говорил о том, что фигуры, конечно, очень остроумны, очень художественны, но... Тут он изъял из рук Драйера сахарницу и, по рассеянности, пустил в свою чашку еще партию кусочков. Драйер, глядя на это с любопытством, почувствовал, что вот, по крайней мере, что-то занятное, – единственная занятная до сих пор черточка; ее надобно поэксплуатировать. Американец говорил, что фигуры очень художественны, но что заменить ими живых манекенов («Да возьмите сахару», – сказал Драйер) – дело рискованное. Можно, конечно, создать моду на это (говорил американец, передавая сахарницу), но такая мода будет непродолжительна. Конечно, изобретение – любопытное, и кое-что можно из него извлечь, но с другой стороны... И чем скучнее говорил американец, тем яснее убеждался Драйер, что изобретение он жаждет купить, что сумму можно запросить грандиозную; но Драйеру было все равно. Фигуры умерли.

Американец пошел звонить по телефону; на столике он оставил свой затейливый золотой портсигар. Драйер повертел его в руках, удивляясь человеческому безвкусию. Затем он улыбнулся. Надо было чем-нибудь вознаградить себя за пережитую скуку. Вот заволнуется американец, засуетится и потом просияет. Любопытно на это посмотреть. Американец вернулся, Драйер встал и оба вышли на улицу. Драйер думал, что вот, он сейчас захочет курить, – и начнется потеха. Но американец опять заговорил о фигурах. Драйер перебил его и стал рассказывать о старинном автомате-шахматисте, который он видел в одном провинциальном музее. Шахматист был одет турком. На углу они распрощались. Условились, где встретиться завтра. Американец добавил, что послезавтра вечером уезжает в Париж, – так что дело нужно решить, не откладывая... Драйер, продолжая думать о шахматисте и рассуждая про себя, можно ли, например, построить механического ангела, который бы летал, – тихо пошел по вечеряющей улице. В глубине улицы жарко горел закат. Подходя к дому, он увидел, что одно окно – окно спальни – пылает золотым закатным блеском. Золото... Он спохватился, что чужой портсигар остался у него в кармане. Не беда, – завтра можно будет отдать. Еще забавнее выйдет.

После ужина он тихо занялся английским языком, изредка потягивая за неизъяснимо нежное ухо Тома, который лежал у его ног. В доме было как-то легко и пусто без Марты. И было очень тихо, – и Драйеру было даже непонятно, почему так тихо, пока он не заметил, что все часы в доме стоят.

В спальне была открыта только его постель; другая была, поверх одеяла, наглухо прикрыта простыней. Белая, безликая постель. Пустовали полочки туалета, и не было кружевного круга на стеклянной подставке. Отсутствовал долголягий негр, обычно сидевший на ночном столике. Драйер потушил свет, и, окруженный странной тишиной, незаметно уснул.

И уже в восемь часов сизо-голубого июльского утра, не побрившись, не позавтракав, он быстро ехал в наемном лимузине, – сперва по улицам знакомым, потом по улицам безымянным, потом по гладкому шоссе, мимо сосновых рощ, полей, неизвестных деревень. У окна, в металлической вазочке, приделанной к стенке, тряслись в лихорадке пыльные искусственные цветы. Через час хлынул мимо небольшой город, потом приблизилась багровая фабрика, закружилась и отошла. Мелькнул велосипедист, как отпущенный конец резины. И опять – поля, бурно катящиеся нивы, деревья, взбегающие на холмы, чтобы лучше видеть. Еще через час, опять в городке, пришлось не то набирать бензину, не то чинить что-то. Потом – чудовищно долгая остановка перед закрытым шлагбаумом. Оглушительно пели птицы, и пахло сеном. Пронесся поезд. И опять – все быстрее, по белому шоссе... трудно сидеть... кидает... трещат рамы... хлещет мимо зелень. Он вспотел, стал искать платок и вынул, неизвестно как попавший к нему в карман, золотой портсигар в виде раковины, – с двумя папиросами. Он машинально их выкурил. Второй окурок упал на десять километров дальше первого. Теперь катились мимо фиолетовые волны вереска. Не успев сделать и одного полного поворота, мелькнула ветряная мельница.

Столпились кругом какие-то домишки и ухнули в тартарары. Протрещало эхо по частым стволам леса; и опять – поля...

Он приехал около часу дня. Молодой человек, студент, сын Шварца из Лейпцига, встретил его, стал что-то объяснять.

– Это вы мне звонили, – я с вами говорил? – на ходу спросил Драйер. Студент закивал, шагая через две ступеньки. В коридоре Драйер увидел того, второго, – танцмейстера, – который ходил взад и вперед, как часовой. Драйер быстро вошел в спальню. Дверь тихо закрылась. Студент и танцмейстер замерли в коридоре.

– Профессор еще там? – шепотом спросил студент.

– Да, – сказал танцмейстер, – он еще там. Повезло все-таки...

Они умолкли, глядя на белую дверь с цифрой 21 и думая о том, как повезло, что в списке курортных гостей она отыскали знаменитейшего доктора. Белая дверь открылась; вышел Драйер, и с ним – загорелый лысый старик в полосатом купальном халате. Из кармана халата торчал стетоскоп.

– Я не очень доволен. Pneumonia cruposa, – да таким галопом.

– Да, – сказал Драйер.

– Я уже вчера вечером был недоволен. У вашей супруги – странное

сердце.

– Да, – сказал Драйер.

– Дыхание сейчас дошло до пятидесяти движений в минуту. Очень нервная больная. Я после обеда зайду опять.

– Да, – сказал Драйер.

Доктор пожал ему руку и, придерживая полы пышного халата, торжественно спустился по лестнице, прошел через холл, вышел на солнечную ветреную набережную. На скамейке, перед гостиницей, сидел совершенно неподвижно, в синих очках, Франц.

– Приехал ваш дядя, – сказал доктор, веля мимо. Когда он прошел, Франц встал и медленно направился в противоположную сторону, направо, вдоль кафе. Потом он остановился, опустив голову. Сделал еще несколько шагов, медленно замер опять; потом, с усилием, повернулся и пошел к гостинице. Он поднялся по лестнице, скрипя ладонью по перилам. В коридоре было пусто. Он остановился у белой двери с цифрой 21. Через некоторое время дверь открылась. Вышла большая и беззвучная сестра милосердия, неся что-то, завернутое в полотенце. На ходу она потрепала по голове девочку в синем халатике, с лопатой в руке, и скрылась за углом коридора. Так же беззвучно и деловито сестра вернулась. Дверь открылась (послышалось чье-то странное бормотание) и медленно затворилась. Франц прислонился к стене, оттолкнулся и, крадучись, пошел прочь. Но он не успел скрыться. Дверь открылась опять, и на цыпочках вышел Драйер.

– Я пойду закусить, – сказал он, виновато взглянув на Франца. – Пойдем. Я со вчерашнего вечера ничего не ел.

В столовой они сели в уголок; обедающие смотрели на них во все глаза. Драйер молча и быстро принялся за суп. Желтая щетина на невыбривших щеках странно его старила. Франц тоже ел суп. Так же молча было съедено и жаркое.

– Можно обойтись без сладкого, – рассеянно сказал Драйер и полез за зубочисткой. Он вынул большую золотую раковину. Посмотрел на нее, морщась, и брезгливо бросил на стол.

– Не вышла шуточка, – сказал он с усмешкой. Он помолчал и опять усмехнулся.

– Знаешь, Франц, – ужасная получилась глупость. Хозяин этой вещи завтра уезжает. Мы с ним сидели в кафе, я вот случайно присвоил.

Франц облизал губы, переглотнул, готовясь что-то сказать.

– Ужасная глупость, – повторил Драйер. – Прямо катастрофа. Верно, он бежит по всему городу. Что теперь делать? Экая золотая гадость...

Он смотрел на раковину, и ему казалось, что это и есть тот ужас, который его сейчас гнетет, и что если как-нибудь от нее отвязаться,

то и ужас пройдет, боль в боку у Марты пройдет, боль пройдет, – все будет, как прежде...

Франц наконец выдал то, что он хотел сказать:

– Я ему отвезу. Дай мне; я ему отвезу.

– Благородно с твоей стороны, Франц. Неужели ты это сделаешь?

– Сегодня вечером, последним поездом, – волнуясь и не сводя глаз с золотой раковины, сказал Франц. – Я отвезу... я отвезу.

«Хороший парень», – мельком подумал Драйер и почувствовал щекотку в углах глаз.

Он вынул визитную карточку и перо, оперся на балюстраду лестницы, написал несколько слов, отдал Францу.

– Очень благородно, мой друг.

Ни тот, ни другой не заметили, как оказались опять в коридоре, перед белой дверью. Франц вздрогнул, увидев дверь, и выхватил из руки Драйера раковину. Драйер кивнул, вздохнул и тихо открыл дверь. Францу опять показалось, что он услышал бормотание Марты, быстрый рокот бреда. Но дверь закрылась; он повернулся и, через плечо оглядываясь, поспешно ушел. Бред остался в полутемной комнате.

И по волнам, по мелким круглым волнам, которые поднимались и спадали – быстро, в лад с ее дыханием, – Марта плыла в белой лодке, и на веслах сидели Драйер и Франц. Франц, через голову Драйера, бодро ей улыбался, и в очках у него был чудный отблеск. Был Франц в длинной ночной сорочке, открытой у ворота, – и лодка опускалась и крякала, как будто на пружинах. И Марта сказала: «Пора, можно начать». Драйер встал, Франц встал тоже, и оба зашатались, смеясь и крепко обнявшись. Волновалась на ветру долгая рубашка Франца, и вот он уже стоял один, смеясь и шатаясь, – а из воды торчала растопыренная рука с обручальным кольцом на пальце.

«Веслом!» – сказала Марта, захлебываясь от смеха. Франц поднял весло, – рука исчезла. Они были одни в белой лодке. И уже это была не лодка, а мраморный столик в открытом кафе, и Франц в ночной рубашке сидел против нее, – и теперь было все равно, что он так смешно одет. Они пили кофе – ужасная разбирала жажда, Франц дул, склонясь над своей чашкой, и Драйер хлопал по столику сафьяновым бумажником, призывая лакея. Тогда она посмотрела на Франца, и Франц, улыбнувшись, сказал Драйеру что-то на ухо, и Драйер со смехом встал и пошел за ним. Марта осталась одна; ждала, и стул, на котором она сидела, поднимался и опускался, оттого что кафе, верно, было плавучее. И вот вернулся Франц, один, неся на руке чужой синий пиджак; многозначительно кивнул и бросил пиджак на стул рядом. Марта хотела поцеловать Франца, но стол был между ними, и мраморный край больно упирался ей в грудь. Принесли еще кофе, три чашки, три кофейничка, и она не сразу спохватилась, что одна порция – лишняя. Кофе не утоляло жажды, она тщетно дула на него – и потом решила, что

так как накрапывает дождь, нужно подождать, чтобы дождь разбавил кофе. Но дождь был тоже горячий, и Франц доказывал, что нужно вернуться домой, – и дом был тут как тут – через поляну, знакомая вилла, с террасой: «Пойдем», – сказала она, и все трое встали, и Драйер, бледный и потный, стал натягивать свой синий пиджак. Тогда она заволновалась, – это было нечестно, незаконно. Франц понял и, говоря что-то увещательным голосом, стал уводить Драйера, который шел, пошатываясь, и все не мог попасть в рукав. Франц вернулся один, но не успел он подойти, как уже Драйер появился поодаль, осторожно шел обратно, – и лицо его было мертвенно-бледное. Косясь на нее, он молча сел на весла. Франц оттолкнул лодку, и Марту охватило такое нетерпение, что она сразу, как только лодка, качаясь, поплыла, стала кричать, топтать ногой. Все зашаталось, она хотела подняться, чье-то весло встало ей поперек груди, не пускало, вздувалась от ветра белая рубашка Франца... И снова они были вдвоем, – но что-то ей говорило, что не все сделано, что это еще не конец, – хотя Франц уже обнимал ее, жал ей ребра торопливыми руками. И вдруг она поняла: пиджак... Пиджак лежал на дне лодки, синий, распластанный, – но уже спина подозрительно горбилась, набухали рукава, он пытался встать на четвереньки. Она схватила пиджак, Франц и она сильно его раскачали и швырнули. Но он не хотел тонуть, – шевелился на волне, как живой. Она стала толкать его веслом, он цеплялся за весло, хотел вылезти. Но вдруг она вспомнила, что в нем остались часы, – и тогда пиджак начал медленно тонуть, вяло двигая обессиленными рукавами. Марта и Франц глядели, обнявшись, как он исчезает и когда, наконец, что-то чмокнуло, и на воде остался только расширяющийся круг, – она поняла, что, наконец, свершилось, что теперь дело действительно сделано, и огромное, бурное, невероятное счастье нахлынуло на нее. Было теперь легко дышать, играло солнце, и она чувствовала и покой, и освобождение, и благодарность. Франц быстрыми руками трогал ее то за плечи, то за бедра, – и в окнах сквозила яркая зелень, белый стол был накрыт для двоих... И счастье все росло, переливалось по телу... счастье, свобода... неуязвимое торжество...

Ее бред протекал вне времени, ее бормотания никто не мог понять. Изредка дверь отворялась и тихо затворялась снова. И была одна минута среди ночи, когда Драйер, оказавшись в коридоре, в кромешной тьме, водил ладонью по стене, в отчаянии отыскивая свет.

Франц очнулся. Было за полночь. Поезд входил в вокзал. Столица. Не было у него ни пальто, ни чемодана. В ушах еще стояло ее безобразное бормотание. Ежась от ночного холода, он прошел в буфет, рухнул на диванчик. Там и сям сидели молчаливые, сгорбленные люди. Изредка гулко гремел отодвигаемый стул.

Облегчение, которое он сперва испытывал, вырвавшись из области ее бреда, – скоро прошло. Это было мнимое бегство. Он знал, что если Марта выживет, – он погиб. Вернется к ней прежняя сила, против которой он не может ничего, – и он погиб. И возможная смерть Марты представилась Францу с такой сладостной ясностью, что на мгновение он поверил, что Марта действительно умрет. И потом, сразу, без перехода, он вообразил и другое, – долгое житье-бытье с нарумяненной, пучеглазой старухой, – и неотвязный ежечасный страх.

На рассвете он почему-то оказался стоящим на каком-то мосту. На столбе, подле спасательного круга, были пожелтевшие иллюстрации под стеклом. Усатый мужчина в штанах и жилете плывет, держа под мышки другого усача. Через час, может быть через два, Францпил кофе в трактире, где на стене была надпись в стихах: «Ешь, пей, хохочи, – о политике молчи». Он стал считать сидящих в трактире. Если четное, она умрет, если нечетное, – выживет. Было семеро мужчин – все шоферы да грузчики – и какая-то женщина. Он не знал, сосчитать ли ее, относится ли она к посетителям, или это жена трактирщика, – долго разбирал про себя этот вопрос.

Погодя, он очнулся опять на мосту, – все попадал он на мосты в это зеленое, как морская болезнь, утро, – и стал гадать, четный ли или нечетный номер у трамвая, приближавшегося издали. Трамвай прошел по мосту; он был без всякого номера, и окна были заколочены.

Около десяти он отправился в другую часть города, в гостиницу, где жил американец. Раковину и записку Драйера он сдал в конторе гостиницы. На него посмотрели неуверенно и подозрительно. Он втянул голову в плечи и вышел.

Потом он сидел на скамейке в парке и смутно думал, что все эти блуждания – какая-то ужасная карикатура на те блуждания, которые когда-то, давным-давно, он совершал, притворяясь, что ходит на службу... На песке были кольца солнца. Он стал их считать. Тревога становилась нестерпимой. Его тянуло обратно, – к той белой двери, – но слишком было страшно вернуться. Мгновениями отвратительная, расслабляющая дремота наваливалась на него. Он заснул на скамейке, потом в ресторане и, проснувшись, долго не мог понять, что говорит ему сердитый лакей. Это смешение дремотности и острейшей тревоги было состояние странное, – как будто спорили за его душу две силы, рвущие то в одну сторону, то в другую. И постепенно он приближался к вокзалу, – да все переулками, переулками, и часто останавливался, замирал, – и потом опять заснул в странном домике, в виде горного шалаша, куда впустила его чистая старуха в переднике. И, наконец, в пятом часу, он очутился на вокзале, и всю дорогу его трясло, он ходил взад и вперед по коридору, и грохот колес напоминал ему страшное бормотание.

Было уже темновато, когда он пересел в автобус. Ему показалось, что шофер хитро на него посмотрел, – знаю, мол, да не скажу. Его соседи с любопытством разглядывали его пыльные башмаки. Он заметил, что все, на что сам смотрит, пересечено сверху вниз неясной полосой, словно вычеркнуто. Он сообразил, что это у него одно стекло треснуло, – но не мог вспомнить, как это случилось. Наконец, приехали. Стараясь быстрой ходьбой унять нестерпимую дрожь в ногах, он пошел к гостинице. Кто-то догнал его и передал ему шляпу, забытую в автобусе. Он ускорил шаг, подошел к гостинице, поискал глазами. На освещенном балконе сидел Драйер и читал газету.

Волнение сразу улеглось. Значит – жива, болезнь перевалила. Он стал вяло подниматься по ступеням лестницы, ведущей из сада на балкон. В душе была пустота, глухота, покорность.

Услышав скрип ступеней, Драйер медленно повернул голову. Франц, взглянув на его лицо, вяло подумал, что, верно, у него сильный насморк. Драйер издал горлом неопределенный звук и, быстро встав, отошел к перилам.

Он стоял к Францу спиной и пальцами играл по деревянной балюстраде. На столе, под лампой, валялся изорванный кусок старой, мятой газеты. Франц посмотрел на газету, опять на спину Драйера, посмотрел – и вдруг раскрыл рот. Раза два Драйер двинул плечами, как будто ему был узок пиджак. Он уже не играл пальцами, а равномерно бил по балюстраде ребром руки. Потом спина его опять дрогнула, и, не оборачиваясь, он быстро засунул руки в карманы штанов.

Он не решался вынуть платок, не решался показать Францу лицо. В темноте ночи, куда он глядел, было только одно: улыбка, – та улыбка, с которой она умерла, улыбка прекраснейшая, самая счастливая улыбка, которая когда-либо играла на ее лице, выдавливая две серповидные ямки и озаряя влажные губы. Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ее любишь, красоту нельзя удержать, и в этом – единственная печаль мира. Но какая печаль? Не удержать этой скользкой, тающей красоты никакими молитвами, никакими заклинаниями, как нельзя удержать бледнеющую радугу или падучую звезду. Не нужно думать об этом, нужно на время ничего не видеть, ничего не слышать, – но что поделаешь, когда недавняя жизнь человека еще отражена на всяких предметах, на всяких лицах, и невозможно смотреть на Франца без того, чтобы не вспомнить солнечного пляжа и Франца с нею, с живою, играющего в мяч.

– Мяч, – сказал Драйер, не оборачиваясь. – Мяч...

Он прочистил горло, хотел добавить, что мяч еще остался в ее комнате, – но почувствовал, что не может.

Впрочем, Франца уже не было на балконе. Были только мелкие белесые мотыльки и какие-то зеленые мошки, вьющиеся вокруг лампы, ползающие по белой скатерти.

Франц бесшумно, не скрипнув ни одной ступенью, спустился по балконной лестнице. Он пошел вдоль крыла гостиницы, ступая в потемках по клумбам, и вернулся в гостиницу через празднично озаренный холл. Приложив ладонь ко рту, чтобы как-нибудь удержать смех, душивший его, разрывающий ноздри, распирающий живот, он мимоходом приказал лакею принести в его номер ужин. Продолжая скрывать дрожащее лицо, поправляя танцующие очки, он поднялся к себе. В коридоре он остановил горничную, крупную, розовую девицу с родимым пятнышком на шее, и сказал глуховатым голосом:

– Разбудите меня завтра не раньше десяти, и вот вам две марки.

Девица поблагодарила, закивала, играя глазами, и повернулась, продолжая свой скорый путь. Он мельком подумал, что, пожалуй, можно было ее ущипнуть сейчас, не откладывая до завтра. Смех, наконец, вырвался. Он рванул дверь своей комнаты. Барышне в соседнем номере показалось спросонья, что рядом, за стеной, смеются и говорят все

сразу, несколько подвыпивших людей.

Июль 1927 – июнь 1928